This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

GRAD
891.78
P68O
S69di
1893

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES.

ДОЗВ. ЦЕНЗ. СОФ. 18 АВГУСТА 1893 Г. ТИП. ТОВ. „ОБЩ. ПОЛЬЗА“ В. ПОДЪЯЧ., 39

Д. И. Писаревъ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ
БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Solovev, E. A.

Д. И. ПИСАРЕВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

D I Pisarev

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Е. А. Соловьева.

Съ портретомъ Писарева, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ.

891.78
P68 σ
S69 d i

ЦѢНА 25 КОП.

1893 С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1893.

Популярно-научныя книги.

Философія Герберта Спенсера, въ сокращ. изложеніи. *Коллинса*. Перев. съ англійскаго *П. Мокіевскаго*. Ц. 2 руб.

Законы подражанія. *Тарда*. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

По волнамъ безконечности. Астроном. фантазія *К. Фламмаріона*. Перев. съ франц. *В. Ранцева*. 350 стр., съ портр. автора. Ц. 80 к.

Пессимизмъ. *Дж. Сёлли*. Популяр. обзоръ всѣхъ пессимист. ученій. Пер. съ англ. подъ редак. и съ предисл. *В. Яковенко*. Ц. 1 р. 50 к.

Домашній опредѣлитель поддѣлокъ. *А. Альмедингена*. Ц. 60 к.

На всякій случай! Совѣты по домоводству. *А. Альмедингена*. Цѣна 50 к.

На всякій случай! *Его-же*. Ч. 2-я. Ц. 50 к.

Гигіена женщины. *М. Тило*. Ц. 40 к.

Гигіена семьи. *Гебера*. Ц. 50 к.

Берегите легкіе! Гигіенич. бесѣды д-ра *Нимейера*. Съ 30 рис. Ц. 75 к.

Гигіена дѣтства. Д-ра *Перье*. Перев. съ фр. *Русаковой*, пересмотр. д-ромъ А. И. Добровольскимъ. Ц. 50 к.

Уходъ за больными дѣтьми. Д-ра *Э. Перье*. Перев. съ франц. *Э. Русаковой*, пересмотрѣнный д-ромъ А. И. Добровольскимъ Ц. 50 к.

Уходъ за больными въ семьѣ. Д-ра *Энцлера*. Прев. съ нѣм. *Русаковой*, пересмотр. д-ромъ А. И. Добровольскимъ. Ц. 50 к.

Сохраненіе здоровья. Гигіена въ примѣненіи къ обыденной жизни. *Д-ра Эйдама*. Ц. 40 к.

Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Д-ра *Мигулы*. Перев. съ нѣмецкаго съ 35 рис. Ц. 1 руб.

Предсказаніе погоды. *Г. Далле*. Переводъ съ франц. Съ 40 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Дарвинизмъ. *Э. Ферьера*. Пер. съ франц. Популярное изложеніе ученія Дарвина. Ц. 60 к.

Жизнь на Сѣверѣ и Югѣ. (Отъ полюса до экватора). *А. Брема*. Дополн. къ его сочин. „Жизнь животн.". Со многими рис. Ц. 2 р.

Первобытные люди. *Дебьера*. Переводъ съ франц. и дополнилъ *М. Энгельгардтъ*. Съ 84 рисунками. Ц. 1 р.

Фабричная гигіена. *В. В. Святловскаго*. 720 стр. и 153 рис. Ц. 4 р.

Рабочій вопросъ. Его значеніе въ настоящемъ и будущемъ. *А. Ланге*. Ц. 1 р. 25 к.

Трудъ и капиталъ. Первонач. свѣдѣнія по политической экономіи. Перев. съ польск. *Свидерскаго*. Ц. 20 к.

Огородничество. Практическія наставленія. *Ф. Шубелера*. Съ 137 рис. Ц. 60 к.

Который часъ? *И. Василова*. Популярное руководство для повѣрки часовъ безъ помощи часовщика и для устройства солнечныхъ часовъ. Съ 18 рис. Книжка эта одобрена Академіей Наукъ. Ц. 30 к.

Записки желудка. Съ англійскаго. Ц. 50 к.

Міръ грезъ. Д-ра *Симона*. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, экстазъ, гипнотизмъ, иллюзіи. Перев. съ франц. Ц. 1 р.

Ручной трудъ. Составилъ *Графинеи*. Руководство къ домашнимъ занятіямъ ремеслами. Перев. съ франц. Съ 400 рис. Ц. 1 р. 50 к. Въ папкѣ 1 р. 75 к. Въ переплетѣ 2 р.

Усталость. Популярно-науч. бесѣды профес. *Моссо*. Перев. съ итальян. *М. Манасеиной*. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Экстазы человѣка. *П. Мантегацца*. Переводъ съ 5-го итальянск. изданія. Ц. 1 р. 50 к.

Физіологическая психологія. *Дизена*. Пер. съ нѣм., подъ редакціей профес. *Чижа*. Съ 21 рис. Ц. 75 к.

Умственныя эпидеміи. Историко-психіатрическіе очерки. Д-ра *Реньяра*. Переводъ съ франц. *Эл. Заузэрг*. Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.

Свѣтъ Божій. Популярные очерки міровѣдѣніе. 6-е изд., съ 65 рис. Ц. 30 к.

Общедоступная астрономія. *К. Фламмаріона*. Съ 100 рис. Ц. 1 р.

Разсказы о небѣ. *К. Фламмаріона*. Перев. съ фр. *Е. Предтеченскаго*. Съ 64 рис, Ц. 50 к.

Телефонъ и его практическія примѣненія. *Майера* и *Присса*. Перев. съ нѣм. и англ. *Д. Головз*. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.

Электричество въ природѣ. *Дж. Дари*. Пер. съ фр. *Д. Голова*. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Электрическіе элементы. Соч. *Ніодв*. Со многими рисунками. Ц. 2 р.

Электрическіе аккумуляторы. *Реньэ*, Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Электрическое освѣщеніе. Составилъ *В. Чиколевъ*. Съ 151 рис. Ц. 2 р. 50 к.

Домашнее электрическое освѣщеніе и уходъ за аккумуляторами. *Сэломонса*. Пер. съ 6-го англ. изд, *Д. Головз*. Практич. руковод. для любит. 81 рис. и 2 діагр. разсиста діам. проводовъ. Ц. 1 р. 25 к.

О безопасности электрическаго освѣщенія. *В. Чиколева*. Съ 6-ю рисунками. Ц. 25 к.

Электричество и магнитизмъ. *Л. Гано* и *Ж. Маневрье*. Пер. *Ф. Павленкова*, *В. Черкасова* и *С. Степанова*. 340 рис. Ц. 1 р. 50 к.

Популярныя лекціи объ электричествѣ и магнитизмѣ. *Хвольсона*. Съ 230 рис. Ц. 2 р.

Главнѣйш. приложенія электричества. *Э. Госпиталье*. Съ 145 рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

Электрическая передача энергіи (передача силы на разстояніе). Сост. *Кантз*. Съ рис. въ текстѣ. Перев. *Д. Голова*. Ц. 1 р. 60 к.

Электричество въ домашнемъ быту. *Э. Госпиталье*. Со множествомъ рисунк. Ц. 2 р.

Электрическіе звонки. *Воттона*. Съ кратк. свѣдѣніями о воздуш. звонкахъ. 114 рис. Перев. съ англ. *Д. Головз*. Ц. 1 р.

Психологія великихъ людей. Проф. *Жоли*. Перев. съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.

Соціальн. жизнь животныхъ. *Эспинаса*. Пер. съ франц. *Ф. Павленкова*. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

Единство физическихъ силъ. Опытъ популярно-научн. философіи. *А. Бекки*. Перев. съ франц. *Ф. Павленкова*. 3-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

Психологія вниманія. Д-ра *Рибо*. Пер. съ франц. 2-е изд. Ц. 50 к.

Современные психопаты. Д-ра *Л. Кюллера*. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

Геніальность и помѣшательство. *П. Ломброзо*. Съ портр. автора и рис. 2-е изд. Ц. 1 р.

Вредныя полевыя насѣкомыя. Сост. *Иверсенъ*. Съ 43 рис. Ц. 80 к.

Эйфелева башня. Состав. *Г. Тисандье*. Съ 34 рисунк. Ц. 50 к.

Хлѣбный жукъ. Чтенія для народа. Съ 3 рис. Бар. *Н. Корфа*. Ц. 10 к.

Воздушное садоводство. *Н. Жуковскаго*. Съ 73 рис. 2-е изд. Ц. 60 к.

Школьный садоводъ. *Л. Волотовскаго*. Цѣна 20 к.

GL
Exch
San
41/3[illegible]
6709709

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

От автора. . . . . — 4

I. Дѣтство.—Семья Писаревыхъ.—Знаменское.—Воспитаніе.—Вліяніе матери.—Знаменскій владѣтельный принцъ.—Отношеніе Писарева къ матери и его собственный взглядъ на полученное имъ воспитаніе. 5

II. Гимназическіе годы.—Писаревъ въ Петербургѣ.—Votre fils tendre et respectueux. Enfant d'une bonne maison.—Взглядъ Писарева на гимназическое образованіе.—Любовь. 15

III. «Университетская наука».—Мытарства въ области филологіи и исторіи.—Кружокъ.—Дружба съ Тресвинымъ.—Частая наука.—Начало кризиса.—Семейный раздоръ. 22

IV. Начало литературной дѣятельности.—«Разсвѣтъ» Кремпина.—Писаревъ нашелъ себя.—Научныя потуги.—Кризисъ приближается. . 38

V. Неудачи любви.—Въ психіатрической больницѣ.—Dementia melancolica. 46

VI. Выздоровленіе.—Восторги любви.—Начало сотрудничества въ «Русскомъ Словѣ».—Г. Е. Благосвѣтловъ.—О вліяніи Благосвѣтлова на Писарева.—«Уличные типы».—«Идеализмъ Платона».—Кандидатъ университета.—Воинствующій эгоизмъ. 62

VII. «Схоластика XIX вѣка».—Умственный демократизмъ.—Быстрые успѣхи.—Новая глава романа.—Трагическій эпизодъ. 79

VIII. Въ крѣпости.—Письма къ матери. 86

IX. Міросозерцаніе Писарева. — Эмансипація личности. — Утилитаризмъ.—«Реалисты».—Принципъ экономіи силъ.—Любовь, трудъ, знаніе.—Разладъ съ «Современникомъ».—Отношеніе Писарева къ народу.—Педагогическіе взгляды Писарева. 95

X. На свободѣ.—Разрывъ съ Благосвѣтловымъ—Новая любовь.—Изъ воспоминаній о Писаревѣ А. М. Скабичевскаго.—Слава.—Переходъ въ «Отечественныя Записки».—Смерть Писарева. . . 128

XI. ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 143

ОТЪ АВТОРА.

Всей отвѣтственности за достоинства или недостатки предлагаемой вниманію читателя біографіи Д. И. Писарева — авторъ ея никоимъ образомъ взять на себя не можетъ. Біографическій очеркъ явился, такъ сказать, результатомъ коллективнаго труда, причемъ бо̀льшая часть свѣдѣній о дѣтствѣ и юности Д. И. Писарева заимствованы изъ воспоминаній о немъ его сестры В. И. Писаревой, къ сожалѣнію еще не напечатанныхъ. Для исторіи умственнаго развитія Писарева самымъ цѣннымъ документомъ — не считая разумѣется сочиненій—явились его собственныя письма къ матери, ея-же рукой переписанныя въ 13 толстыхъ тетрадей. Эти письма очень многочисленны и отличаются полной откровенностью и обиліемъ подробностей. Писаревъ не скрывалъ никогда отъ матери ни одного движенія своего сердца, ни одной мысли. Необходимо еще упомянуть и о личныхъ разсказахъ тѣхъ, кто зналъ Д. И. Писарева и по прошествіи 25 лѣтъ сохранилъ о немъ самое теплое, а иногда и восторженное воспоминаніе.

Авторъ.

I.

Дѣтство.—Семья Писаревыхъ.—Знаменское.—Воспитаніе.—Вліяніе матери.—Знаменскій владѣтельный принцъ.—Отношеніе Писарева къ матери и его собственный взглядъ на полученное имъ воспитаніе.

Первые годы жизни Д. И. Писарева переносятъ насъ на границу Орловской и Тульской губерніи, въ родовое имѣніе Писаревыхъ—Знаменское.

Знаменское рѣшительно ничѣмъ не отличалось отъ другихъ помѣщичьихъ усадьбъ того времени. Административнымъ и духовнымъ центромъ его являлся старый каменный домъ въ три этажа, съ мастерскими въ нижнемъ, жилыми комнатами въ среднемъ и совершенно заброшеннымъ верхнимъ этажомъ, наводившимъ на дѣтей таинственный страхъ. Внутри—огромная передняя, вѣчно биткомъ набитая степенными, взрослыми лакеями, на лицахъ которыхъ тѣмъ ярче запечатлѣно высокое сознаніе собственнаго достоинства, чѣмъ дольше они протянули лямку; за передней—огромная зала въ 6 оконъ, съ необъятнымъ билліардомъ посрединѣ, огромными старинными часами въ углу и тяжелыми, неуклюжими, домашняго издѣлія стульями вдоль стѣнъ; изъ одного ряда оконъ открывается видъ на рѣку и прудъ. Дальше—гостинная, большая, глубокая, всегда, даже въ самые жаркіе дни, прохладная и хмурая отъ отсутствія солнца. Двери гостинной выходили прямо на балконъ съ ветхими деревянными перилами и широкими лѣстницами, спускавшимися по обѣ стороны въ садъ, носившій скромное названіе палисадника, по сравненію съ двумя другими, еще бо́льшими садами. За гостинной помѣщалась дѣтская, свѣтлая, веселая, большая комната окнами на юго-востокъ, весь день залитая солнцемъ; подъ окнами разстилался просторный барскій дворъ со службами, разступавшимися по обѣ стороны, чтобы дать мѣсто вымощенной камнемъ дорожкѣ къ бѣлой

каменной церкви. А вотъ и двѣ старыя развѣсистыя ели, вѣчно темныя, черно-зеленыя, вѣчно кивавшія своими мохнатыми вершинами, таинственно шептавшимися о чемъ-то. Длинный корридоръ отдѣлялъ дѣтскую отъ дѣвичьей и спальной—большой темной комнаты, съ окнами, круглый день заставленными черными ручными ставнями. Постоянно раскрытыя двери вели изъ спальной въ образную.

Таково было родовое гнѣздо Писаревыхъ. Высокій, трехъэтажный каменный домъ, стоявшій на пригоркѣ, окруженный многочисленными службами, садами — съ скромной маленькой церковью передъ собой—властно царилъ надъ подчиненными ему владѣніями. Все въ домѣ было старое, помѣщичье, помнившее еще XVIII вѣкъ,—старыми были и покосившаяся крыша, и обросшіе мхомъ камни фундамента, и дворянскія идеи, твердо засѣвшія въ головахъ обладателей этого помѣщичьяго гнѣзда.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ немъ дружно и братски жила большая семья Писаревыхъ—нѣсколько сестеръ и братьевъ вмѣстѣ. Текла ихъ жизнь весело, шумно и привольно; безъ тяжелыхъ думъ и душевныхъ потрясеній, безъ гнетущей мысли о завтрашнемъ днѣ и изнуряющаго труда изъ-за куска насущнаго хлѣба, держались они мудраго правила—«довлѣетъ дневи злоба его», и заглядывать впередъ не любили. Да и зачѣмъ? И впереди ждало ихъ то-же самое. Привольное и сытное житье, такъ какъ блаженнымъ временамъ крѣпостничества въ то время не предвидѣлось еще и конца.

Семья Писаревыхъ жила такъ-же, какъ жили въ то время всѣ дворянскія семьи средней руки; знаменскій домъ, особенно со времени женитьбы отца Дмитрія Ивановича, былъ, что называется, открытымъ, и въ него съѣзжалось множество гостей, все больше изъ мѣстной провинціальной аристократіи; а когда сюда-же переселилась тетка Писарева, бойкая, красивая и умная, молодая вдова, къ этому обществу примкнула и молодежь какого-то коннаго полка, стоявшаго поблизости въ уѣздномъ городѣ Задонскѣ. Писаревы были радушны, гостепріимны и хлѣбосолы на широкую ногу. Они были дворянами чистой крови, и это отражалось не только на внѣшнемъ обиходѣ ихъ жизни, но и на всемъ складѣ міросозерцанія. Было въ этомъ міросозерцаніи и хорошее, и дурное, какъ всегда въ Россіи, помѣсь культурнаго съ азіатскимъ, французскаго языка съ крѣпкимъ національнымъ словомъ и шампанскаго съ водкой. Отличались Писаревы

и безалаберностью, и широкимъ барскимъ великодушіемъ, полнымъ пренебреженіемъ къ деньгамъ и мелочнымъ разсчетамъ, отличались и рыцарски вѣжливымъ отношеніемъ къженщинамъ. Амуры и адюльтеры разумѣется играли не малую роль въ ихъ жизни, но всякая нескромность въ этомъ случаѣ, всякій малѣйшій оттѣнокъ хвастовства и фатовства считались чуть-ли не уголовными преступленіями. Къ чести Писаревыхъ надо однако сказать, что, несмотря на въѣвшееся въ ихъ плоть и кровь крѣпостничество, они были достаточно «аристократами» въ лучшемъ смыслѣ этого слова, чтобы не обижать своихъ холопокъ и хамокъ и не заводить себѣ гаремовъ, что̀ по тому времени было исключеніемъ. Съ этими чертами характера мирно уживались барское самодурство, какая-то удаль и дикое молодечество. Навязать себѣ на шею уголовное дѣло такъ себѣ, здорово живешь, чтобы потѣшить свою удалую голову, избить до полусмерти духовное лицо за то, что оно не свернуло съ дороги съ подобающей поспѣшностью,—все это было ни-по-чемъ. Но за такія безобразія господа хорошо платили, почему и именовались «хорошими».

Какъ истые баре, Писаревы держали себя въ высокомѣрномъ отдаленіи отъ сермяжной толпы своихъ подданныхъ и жили рядомъ съ ними, совершенно чуждые ихъ быту и нуждамъ. Люди они были не жестокіе, а положительно добрые, но между тѣмъ на ихъ душѣ лежитъ не одна дикая выходка самодурнаго произвола. Заставить напр. ключницу, почтенную женщину, принадлежавшую къ дворовой аристократіи, цѣлый день катать пустыя бочки изъ одного подвала въ другой за то, что она осмѣлилась не въ ту-же минуту явиться на барскій призывъ и отозваться, что занята установкой кадокъ въ погребѣ; послать человѣка пѣшкомъ, верстъ за 15, за ту великую провинность, что онъ забылъ на постояломъ дворѣ бариновъ чубукъ, или велѣть тому-же человѣку за какую-нибудь ошибку или просто неловкость дать самому себѣ опредѣленное количество пощечинъ—это все такіе эпизоды, имя которымъ легіонъ.

Въ такой-то чисто барской, помѣщичьей обстановкѣ и родился 2-го октября 1840 года Дм. Ив. Писаревъ.

Его воспитаніемъ первые годы исключительно занялась мать. Что̀ это было за воспитаніе, представить себѣ не трудно. Мать Писарева—добрая, прекрасной и чистой души женщина, получила образованіе такое-же, какое получали въ то время всѣ барышни достаточныхъ дворянскихъ семействъ. Умѣнье говорить и даже думать

по-французски, un peu de musique, слабое знаніе нѣмецкаго языка, немножко исторіи и географіи—вотъ и все образованіе. Къ этому надо прибавить хорошія манеры и нѣсколько отдаленное знакомство съ русскимъ языкомъ и литературой.

Принявшись за воспитаніе сына, мать Писарева разумѣется не имѣла никакой педагогической подготовки. Дурно или хорошо, эту подготовку должна была замѣнить страстная материнская любовь, страстное желаніе сдѣлать изъ сына *хорошаго* человѣка. Но хорошій человѣкъ—понятіе относительное. Въ сороковые годы оно означало благовоспитаннаго джентльмэна, умѣющаго держать себя въ обществѣ, великолѣпно говорящаго по-французски и по-нѣмецки, знающаго музыку—словомъ, приличнаго во всѣхъ отношеніяхъ. Изъ Писарева долженъ былъ получиться «jeune homme correcte et bien élevé»—каковой и получился на самомъ дѣлѣ.

Мать принялась за дѣло съ большою торопливостью, происходившей вѣроятно отъ сознанія собственной неумѣлости, отъ робости передъ такимъ большимъ дѣломъ, какъ воспитаніе возлюбленнаго сына. 4-хъ лѣтъ отъ роду Писаревъ уже бѣгло читалъ по-русски, а по-французски говорилъ, какъ маленькій парижанинъ. Въ такихъ успѣхахъ повинны столько-же громадныя способности ребенка, его удивительная память—сколько и старательность, приложенная матерью въ дѣлѣ воспитанія. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что Писаревъ учился цѣлый день. Мать такъ дорожила каждой минутой, такъ была полна желанія научить ребенка всему, чтó знала сама, что даже время прогулокъ не пропадало непроизводительно; не было и тутъ отдыха дѣтской мысли: все время отдавалось упражненіямъ во французскомъ языкѣ: сначала мать придумывала цѣлые длинные разговоры, цѣлыя длинныя исторійки на русскомъ языкѣ, употребляя въ нихъ заученныя ребенкомъ слова, а онъ переводилъ ихъ на французскій. Маленькому Писареву это занятіе очень понравилось, и въ скоромъ времени онъ и самъ сталъ выдумывать разговоры, изящно отдѣлывая и округляя свои фразы; особенное-же удовольствіе ему доставляло то, когда въ прогулкѣ принималъ участіе кто-нибудь изъ взрослыхъ, взапуски съ нимъ придумывавшихъ примѣры на слова, и тогда ребенокъ выбивался изъ силъ выказать все свое «мастерство словесныхъ дѣлъ».

На физическое развитіе обращалось вниманія очень мало. Писарева разумѣется держали въ теплѣ и холѣ, хорошо кормили, но

изъ-за французскихъ діалоговъ совершенно забывали о необходимости для мальчика побѣгать и порѣзвиться. Какъ неопытная воспитательница, мать шла по линіи наименьшаго сопротивленія, обративъ все свое вниманіе на изощреніе тѣхъ способностей, которыя и такъ даны были въ избыткѣ Писареву самой природой, т. е. памяти и воображенія. Но она и не думала, что рыхлаго, мало подвижнаго, слишкомъ «умственнаго» мальчика надо прежде всего пріучить къ движенію и воспитать въ немъ физическое и нравственное мужество. Нужно было тормошить, но не умъ — самъ по себѣ въ высшей степени подвижный, а весь организмъ, которому жизнь предназначала столько труда, лишеній и страданія. Но этого не было.

Писаревъ выросъ одинъ, постоянно окруженный взрослыми, которые то баловали его, то наказывали, то испытывали надъ нимъ различныя системы воспитанія, но товарищества онъ не зналъ до самой своей юности. А между тѣмъ и у него проявлялась потребность въ сверстникахъ, съ которыми онъ могъ-бы порѣзвиться и быть можетъ даже подраться немного—въ предѣлахъ, дозволимыхъ à un enfant d'une bonne maison. Разскажу по этому поводу комическій эпизодъ. Матери однажды пришла фантазія потѣшить сына, исполнивъ его завѣтную мечту—имѣть возлѣ себя товарища, и вотъ его сестру Вѣру одѣли въ его-же собственное платье, сдѣлали ей косой проборъ и представили въ качествѣ новаго брата Васи. Писаревъ пришелъ въ восторгъ отъ этой новости, хотя превосходно видѣлъ, что никакого новаго лица нѣтъ, а есть только переодѣванье, но дѣвочка вошла въ свою роль и стала болѣе мальчикомъ, чѣмъ онъ самъ, и обнаружила такое буйство, что ее снова пришлось обратить въ сестру Вѣрочку. Мистификація продолжалась однако дня три, и, когда дѣвочка появилась опять въ своемъ платьицѣ, Писаревъ залился горькими слезами и долго не могъ утѣшиться отъ своей разбитой мечты. «Какъ только я подумаю, что Вѣрочка ужъ больше не мальчикъ», восклицалъ онъ ежеминутно, а за этимъ восклицаніемъ слѣдовалъ новый потокъ горячихъ дѣтскихъ слезъ.

Выростая на діалогахъ и всевозможныхъ «экзерциціяхъ», вѣчно окруженный взрослыми, безъ товарищей и рѣзвыхъ игръ, Писаревъ былъ ребенкомъ очень вялымъ, физически дряхлымъ, серьезнымъ не по лѣтамъ и до смѣшного трусливымъ, зато почтительности и чисто пассивнаго повиновенія въ немъ было столько, что ихъ смѣло можно было сократить въ нѣсколько разъ. Вотъ еще нѣсколько эпи-

зодовъ, достаточно ярко характеризующихъ будущаго нигилиста и сокрушителя вѣрованій.

Писаревъ постоянно нюнилъ. Достаточно было самаго незначительнаго повода, чтобы изъ его глазъ полился обильный потокъ слезъ. Онъ плакалъ, когда его «обижала» маленькая сестра, плакалъ, когда кто нибудь не соглашался признать его любимой куклы—какого-то безносаго гусара—великолѣпной, плакалъ каждый день, достаточно краснорѣчиво доказывая этимъ свою болѣзненную чувствительность. Эта-же чувствительность, какъ результатъ физической дряблости, обусловливала и смѣшную, совершенно безпричинную трусость. Такъ напр., онъ до смерти боялся маленькой рыженькой собаченки «Дурочки», безвреднѣйшаго существа въ мірѣ, которое отличалось однако ярымъ задоромъ. Лежитъ бывало «Дурочка» на своемъ мѣстѣ, на мягкомъ креслѣ,—входитъ маленькій Писаревъ въ комнату, долго вглядывается въ собаку, и замѣтивъ, что та спитъ, крадется на цыпочкахъ, чтобы не разбудить своего врага; но одинъ неосторожный шагъ—собаченка просыпается и съ тѣмъ бо̀льшимъ задоромъ лаетъ и кидается на ребенка, чѣмъ тише тотъ старается пройти; мальчикъ плачетъ и кричитъ отъ испуга. Въ такихъ случаяхъ въ ходъ событій вмѣшивался обыкновенно отецъ. Считая воспитаніе дѣломъ женскимъ, онъ предоставилъ его исключительно женѣ, сохраняя однако за собою верховный надзоръ. Этотъ верховный надзоръ ограничивался впрочемъ преимущественно наказаніями, и зачастую въ старинномъ барскомъ домѣ раздавался умоляющій голосъ маленькаго Писарева: «Папа, сѣки, сѣки, только не больно!»

Сѣкли главнымъ образомъ за плаксивость, такъ какъ по части почтительности и повиновенія Писаревъ смѣло могъ быть поставленъ въ примѣръ всѣмъ своимъ сверстникамъ. Читаетъ онъ напр. исторійку изъ дѣтской книги подъ заглавіемъ «L'enfant raisonneur», гдѣ разсказывается объ испорченномъ мальчикѣ, который на всѣ приказанія взрослыхъ отвѣчалъ вопросами, зачѣмъ да почему? и—о ужасъ!—позволялъ себѣ вдаваться въ самыя неподходящія разсужденія. Писаревъ, пораженный уже самымъ заглавіемъ, окончательно всталъ втупикъ и долго приставалъ къ матери съ распросами: «Mais, maman, est-ce qu'il y a de tels enfants, est-ce qu' on peut ne pas obéir, quand maman et papa ordonnent quelque chose?» *) До ка-

*) Но, мама, развѣ есть такія дѣти, развѣ можно не слушаться, когда папа или мама что нибудь приказываютъ?

кихъ вообще геркулесовыхъ столбовъ доходило его послушаніе, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ. Ребенку было не болѣе 4-хъ лѣтъ въ то время, когда мать повезла его въ гости къ какимъ-то родственникамъ. Мальчика стали ласкать и первымъ дѣломъ дали кусочекъ конфеты и ложку варенья въ ротъ. Что̀ было тутъ дѣлать? Матери въ комнатѣ не случилось, а съѣсть что-нибудь сладкое безъ ея позволенія Писаревъ считалъ совершенно невозможнымъ, но съ другой стороны лакомство предлагала «ma tante» и выказать явное непослушаніе такому крупному авторитету тоже не приходилось; Писаревъ избралъ средній путь—взялъ, что̀ давали, но продержалъ варенье во рту до прихода матери, не рѣшившись проглотить его иначе, какъ съ разрѣшенія начальства.

Много подобныхъ эпизодовъ изъ дѣтскихъ и отроческихъ лѣтъ Писарева разсказываютъ его близкіе, но мы не будемъ на нихъ останавливаться, хотя отмѣтить эту черту воспитанія не только не мѣшаетъ, но и прямо необходимо.

Въ воспитаніи этомъ однако, несмотря на всѣ его странности, несмотря на то, что велось оно наугадъ и лишало ребенка всей его самостоятельности, было не мало и хорошаго. Прежде всего изъ Писарева сдѣлали, какъ выражается его сестра, воплощенную правду и искренность. Отъ матери у него не было ничего завѣтнаго, не было той мысли и чувства, которыми, разъ сознавши ихъ, онъ не спѣшилъ бы подѣлиться съ нею съ полной откровенностью.

Впрочемъ эта сообщительность проявлялась не относительно только одной матери, но съ нею онъ охотнѣе всего дѣлился своими впечатлѣніями. Правдивость его—все равно какъ послушаніе—доходила до крайнихъ предѣловъ возможнаго: онъ не только самъ никогда не лгалъ словами или дѣйствіями, но его глубоко возмущала всякая неправда въ другихъ, если онъ успѣвалъ замѣтить ее. Встрѣчаясь съ какой-нибудь иногда самой незначительной ложью, онъ широко раскрывалъ глаза и спрашивалъ: «Mais comment donc, maman, mais est-ce que cela est possible?..» (Но какъ же, мама? Развѣ это возможно?) Очень строгъ былъ онъ и къ самому себѣ. Однажды—ему было только девять лѣтъ—его повезли говѣть въ монастырь. Къ исповѣди онъ готовился съ величайшимъ благоговѣніемъ, былъ сосредоточенъ и молчаливъ цѣлый день, боясь впасть въ какой-либо грѣхъ. Онъ ужасно боялся забыть какой-нибудь изъ своихъ «дурныхъ поступковъ», припоминалъ съ матерью все, что̀ казалось ему

нехорошимъ, но—каковъ-же былъ его ужасъ, когда, вернувшись отъ священника, онъ вспомнилъ, что на душѣ его остался тяжкій грѣхъ: забылъ сказать, что два раза солгалъ,—разъ пропустивши въ нѣмецкой книгѣ, которую читалъ, нѣсколько скучныхъ страницъ, воспользовавшись тѣмъ счастливымъ обстоятельствомъ, что гувернантка его Эмилія Францовна сладко задремала, въ другой—скрывши, что сломалъ игрушку, которую спустилъ украдкой подъ полъ между щелями половицъ. Забывчивость, которая показалась ему ложью, такъ долго мучила мальчика, что матери лишь съ трудомъ удалось успокоить его.—Эта черта характера Писарева осталась у него на всю жизнь.

Не менѣе важно и то, что воспитаніе развило въ немъ значительную дозу самоувѣренности. Это—недостатокъ, скажутъ пожалуй строгіе моралисты. Это—достоинство, скажу я, и достоинство, которое нужно цѣнить на вѣсъ золота, такъ какъ чего-же стоитъ человѣкъ, который сомнѣвается въ каждомъ чувствѣ своемъ, въ каждой мысли, въ каждомъ впечатлѣніи? Ровно ничего онъ не стоитъ. Разумѣется, нельзя доводить такой точки зрѣнія до крайности; но вѣдь это предполагается всегда, разъ говорятъ о свойствахъ человѣческой души. Вѣра въ себя необходима для дѣятельности, иначе все будетъ вываливаться изъ рукъ, и ни одна мысль не дойдетъ до конца, испуганная своей собственной смѣлостью. Запасшись этимъ прекраснымъ качествомъ, Писаревъ избѣгъ многихъ страданій и сберегъ много силъ. Не пришлось ему восклицать съ мучительной злобой въ душѣ:

Ахъ ты, страсть роковая, безплодная,
Отвяжись, не тумань головы;
Осмѣетъ насъ красавица модная:
Вкругъ нея увиваются львы—

въ области мысли онъ самъ былъ львомъ.

Приведу однако нѣсколько фактовъ. «Единственный сынъ наслѣдникъ» — Писаревъ въ дѣтствѣ сосредоточивалъ на себѣ все вниманіе и заботы взрослыхъ: любовались имъ многочисленные дяди, не менѣе многочисленныя тетки и всякіе родственники и родственницы, наѣзжавшіе гостить въ просторный знаменскій домъ, баловала и любила его безъ памяти старуха-бабушка, обожала прислуга, боготворила съ какимъ-то страстнымъ увлеченіемъ, съ ревнивою исключительностью совершенно влюбленная въ него мать. Писаревъ былъ центральнымъ свѣтиломъ знаменскаго міра, и пріѣзжій, коротко знакомый съ порядками въ домѣ, могъ легко заключить по

выраженію лица выбѣгавшихъ ему на встрѣчу слугъ, здоровъ или боленъ малютка. Ребенокъ и самъ такъ привыкъ видѣть, что каждое его слово, каждое его движеніе замѣчается, что недостатокъ вниманія къ нему задѣвалъ его за живое и оскорблялъ дѣтское самолюбіе. Пріѣхалъ разъ въ Знаменское гость изъ церемонныхъ, кажется елецкій предводитель дворянства; Писарева въ гостинной не было, онъ вошелъ въ комнату, когда уже завязался живой разговоръ между гостями и хозяевами, и крайне удивился, что его появленіе не произвело обыкновеннаго впечатлѣнія: никто не обратился къ нему съ привѣтствіемъ, его даже не замѣтили, хотя, по настоянію пожилой няни Ѳеоны, онъ не преминулъ шаркнуть ножкой и произнести «бонжуръ»,—а—еще бо̀льшая обида!—онъ мнилъ себя еще болѣе интереснымъ, потому что облачился въ только что сшитый сюртучекъ и штанишки и охорашивался съ большимъ самодовольствомъ. И каково же было его разочарованіе: вошелъ, поклонился—и никого не поразилъ... Сѣлъ онъ за свой столикъ, поигралъ нѣсколько минутъ, но видно обида заговорила сильнѣе: не вытерпѣлъ, подошелъ къ гостю и пресерьозно спросилъ: «отчего вы меня не замѣчаете и не разговариваете? Всѣ всегда говорятъ со мной!»...

Писаревъ твердо былъ убѣжденъ, что всѣ—особенно мать—къ каждому его слову, къ каждому чувству отнесутся внимательно и любовно. Онъ никогда не слыхалъ этихъ глупыхъ: «отстань, мнѣ некогда», «выростешь—узнаешь» и т. д. Его дѣтская исключительная даже любознательность удовлетворялась по мѣрѣ своего появленія. Онъ видѣлъ, что всѣ находятъ величайшее удовольствіе въ его обществѣ—это льстило его самолюбію, это заставляло цѣнить себя.

Въ общемъ — счастливое дѣтство. Писаревъ жилъ въ теплѣ и холѣ, средь ласки и любви. Онъ долго не видалъ тѣхъ мрачныхъ и суровыхъ сторонъ дѣйствительности, которыя испортили дѣтство и юность другихъ нашихъ публицистовъ и писателей. Хотя вскорѣ состояніе Писаревыхъ пошатнулось, но до нищеты было еще далеко, и Писаревъ вышелъ въ жизнь точно изъ теплицы,—изящный, гордый, самоувѣренный...

*
* *

Въ эти дѣтскіе, а впослѣдствіи и юношескіе годы отношенія къ матери, какъ видитъ читатель, стоятъ на первомъ планѣ. Мать пріучила Писарева къ полной и безусловной откровенности, она

любила его съ тою страстностью, тѣмъ увлеченіемъ, которыя требовали, чтобы сынъ принадлежалъ ей цѣликомъ, безраздѣльно, чтобы онъ дѣлился съ нею каждымъ своимъ помысломъ. Такая любовь недалека отъ ревности и того особеннаго вида деспотизма, которому лучшее названіе—материнскій. И мать впослѣдствіи дѣйствительно ревновала Писарева ко всякой женщинѣ, которая становилась между ними,—впослѣдствіи-же она глубоко страдала отъ каждаго самостоятельнаго вѣрованія и каждой самостоятельной мысли, появлявшихся въ головѣ сына. Ей хотѣлось, чтобы Писаревъ на всю жизнь остался тѣмъ милымъ, покорнымъ мальчикомъ, какимъ онъ былъ въ дѣтствѣ, чтобы лишь возлѣ нея изливалъ онъ свои страданія и лишь съ ней одной дѣлилъ всѣ радости. Это—извѣстная ошибка излишней любви,—ошибка, вызывающая столько мукъ и разочарованій въ семейной жизни. Мы увидимъ ихъ послѣ, но мнѣ-бы хотѣлось уже въ настоящую минуту подготовить къ нимъ читателя и указать на ихъ грустную необходимость.

«Многія черты моего характера—писалъ впослѣдствіи Писаревъ своей матери—огорчали другихъ людей, но не потому, что эти черты наносили имъ большой убытокъ, а потому, что они желали, чтобы я былъ не такой человѣкъ, а другой. Эти люди были неправы, и къ числу ихъ принадлежала и ты. Неправы они были потому, что хотѣли невозможнаго. Каковъ есть человѣкъ, таковъ и есть, и другимъ онъ не будетъ и быть не можетъ. Пока ты желала передѣлать меня, я стоялъ въ оборонительномъ положеніи, потому что мнѣ, какъ и всякому другому человѣку, чрезвычайно дорога неприкосновенность и самостоятельность характера. Человѣкъ защищаетъ ее, какъ свою жизнь, совершенно инстинктивно, когда даже не понимаетъ, что такое самостоятельность и неприкосновенность. На этомъ основаніи вѣчная борьба между воспитателями и дѣтьми. Воспитатели обыкновенно хотятъ сдѣлать слишкомъ много, и это имъ не удается, и въ эту ошибку впадаютъ именно самые усердные и умные воспитатели, къ числу которыхъ принадлежишь и ты. Ошибка это впрочемъ не приноситъ нисколько вреда; жаль только, что воспитателю она доставляетъ много хлопотъ и даже огорченій, она ведетъ обыкновенно къ тому, что между воспитателемъ и воспитанникомъ, переходящимъ уже въ мужской возрастъ, поселяется на время холодность и натянутость отношеній. Но какъ только воспитатель мирится съ характеромъ воспитанника, какъ съ существующимъ фактомъ, тотчасъ-же исчезаетъ всякая холодность и начинается прежнее дружелюбіе. Вотъ самый простой очеркъ нашихъ отношеній съ тобой; вотъ почему между нами было что-то неладно и вотъ почему мы теперь большіе друзья съ тобой и съ каждымъ годомъ будемъ дружиться все сильнѣе.» (1863 г.).

II.

Гимназическіе годы.—Писаревъ въ Петербургѣ.—Votre fils tendre et respectueux. Enfant d'une bonne maison.—Взглядъ Писарева на гимназическое образованіе.—Любовь.

Когда Писареву минуло 11 лѣтъ, было рѣшено на семейномъ совѣтѣ везти его въ Петербургъ, въ гимназію. Тяжело было матери разставаться съ своимъ ненаглядным сокровищемъ, неразлучнымъ съ ней съ самаго дня рожденія, но его польза стояла на первомъ планѣ, а отецъ замѣтилъ со свойственной ему добродушной рѣзкостью выраженій: не свиней же ему съ кнутомъ пасти въ деревнѣ. Доставить мальчика въ Петербургъ и сдать его съ рукъ на руки лучшему другу и родственницѣ г-жи Писаревой взялся одинъ изъ дядей Дм. Ив., братъ его отца, который отъ души любилъ мальчика, гордился его успѣхами и возлагалъ огромныя надежды на его будущую карьеру, предсказывая родителямъ, что онъ будетъ министромъ или посланникомъ. Трудно сказать, съ какой стороны и въ какомъ отношеніи Писаревъ могъ подавать поводъ родителямъ и близкимъ людямъ прочить его въ дипломаты, только для «хрустальной коробочки» мечтали именно объ этой карьерѣ.

Зная маленькія средства родителей Писарева, одинъ изъ его богатыхъ дядей вызвался платить за него въ гимназію и впослѣдствіи въ университетъ съ тѣмъ, что современемъ, когда молодой человѣкъ станетъ на ноги и выйдетъ на дорогу, онъ возвратитъ ему истраченное. Это обязательство выполнялось свято до тѣхъ поръ, пока Д. И. Писаревъ, этотъ образецъ повиновенія и всяческихъ добродѣтелей, насажденныхъ въ его сердцѣ домашнимъ воспитаніемъ, оказался отщепенцемъ и разрушилъ розовыя надежды на карьеру, объявивъ категорически, что хочетъ жениться на Раисѣ, *не хочетъ* быть ни министромъ, ни дипломатомъ, а лишь сотрудникомъ журналовъ...

6-го декабря 51-го года Писаревъ выѣхалъ изъ родного гнѣзда, напутствуемый слезами, наставленіями, горячими молитвами и тетрадками французскихъ и нѣмецкихъ словъ, которыя ему вмѣнялось въ непремѣннѣйшую обязанность повторять, чтобы не забыть языки.

Разставаясь съ роднымъ гнѣздомъ, Писаревъ горько плакалъ.

Мы подошли къ гимназическимъ годамъ. Enfant d'une bonne

maison, enfant bien élevé, votre fils tendre et respectueux—словомъ, тотъ самый Писаревъ, котораго мы видѣли подъ кровлею родительскаго дома, не сходитъ со сцены еще нѣсколько лѣтъ. Весь гимназическій курсъ не вызвалъ въ немъ ни одной новой мысли, ни одного новаго душевнаго движенія. Таково мнѣніе самого Писарева, съ такимъ неподражаемымъ юморомъ высказанное имъ въ слѣдующихъ строкахъ:

«Итакъ, я—студентъ. Позади меня въ близкомъ прошедшемъ лежитъ побѣжденная груда личныхъ враговъ моихъ, груда тѣхъ учебниковъ, которыхъ сумма въ совокупности называется гимназическимъ курсомъ. Надъ этой хаотической грудой поверженныхъ и безсильныхъ противниковъ, какъ символъ примиренія и прощенія, сіяетъ кроткимъ и умилительнымъ блескомъ первая серебряная медаль съ изображеніемъ богини мудрости и съ многозначительной надписью «преуспѣвающему». Внѣшніе результаты моего пребыванія въ гимназіи оказываются блистательными; внутренніе результаты поражаютъ неприготовленнаго наблюдателя обиліемъ и разнообразіемъ собранныхъ свѣдѣній: логарифмы и конусы, усѣченныя пирамиды и неусѣченные параллепипеды перекрещиваются съ гекзаметрами Одиссеи и асклепіадовскими размѣрами Горація; рычаги всѣхъ трехъ родовъ, ареометры, динамометры, гальваническія баттареи приходятъ въ столкновеніе съ Навуходоноссоромъ, Митридатомъ, Готфридомъ Бульонскимъ и нескончаемыми рядами цифръ, составляющихъ неизбѣжное хронологическое украшеніе слишкомъ извѣстныхъ историческихъ учебниковъ гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова. А города, а рѣки, а горныя вершины, а германскій союзъ, а неправильные греческіе глаголы, а удѣльная система, а генеалогія Ивана Калиты! И при всемъ томъ мнѣ только 16 лѣтъ, и я все это превозмогъ и превозмогъ единственно только по милости той драгоцѣнной способности, которою обильно одарены гимназисты. Той же самой способностью одарены вѣроятно и въ той-же степени кадеты и семинаристы, лицеисты и правовѣды, да и вообще все обучающееся юношество нашего отечества. Эта благодатная сила не что иное, какъ колоссальная сила забвенія. Юношество понимаетъ, что эта магическая сила представляетъ для него единственное средство спасенія; только при помощи ея оно, выдержавши свои многочисленные экзамены, навсегда очищаетъ свою голову отъ переполняющихъ и засоряющихъ ее ингредіентовъ».

Это случилось и съ самимъ Писаревымъ. Быстро пришлось ему выбросить изъ головы всѣ синусы и косинусы, всѣхъ Навуходоноссоровъ и Аннибаловъ, и если онъ нѣсколько рѣзко отзывается о гимназическомъ курсѣ, то, какъ ниже увидитъ читатель, онъ имѣлъ на то свои основательныя причины. Прежде всего отмѣчаетъ онъ чисто механическую систему усвоенія и говоритъ:

«Во время учебнаго года гимназистъ удерживаетъ заразъ въ своей головѣ только тотъ маленькій кусочекъ каждой учебной книги, который учитель въ ближайшій классъ можетъ потребовать къ осмотру; въ одно время въ его мозгу живутъ независимо другъ отъ друга кусочки разныхъ предметовъ; такъ какъ ни одинъ предметъ не вмѣщается въ мозгу въ своей цѣлости, то эти кусочки живутъ и шевелятся сами по себѣ безъ всякой связи съ цѣлымъ, такъ точно, какъ живутъ и шевелятся сами по себѣ куски разрѣзаннаго земляного червя. Когда наступаетъ пора экзаменовъ, тактика немедленно перемѣняется: эйнъ, цвей, дрей, куски разрѣзаннаго червяка сбѣгаются и сростаются въ надлежащемъ порядкѣ. Начинается церемоніальный маршъ червяковъ черезъ мозги гимназистовъ; по порядку, назначенному въ расписаніи экзаменовъ, проходятъ предметы одинъ за другимъ, и самъ гимназистъ испытываетъ рядъ изумительнѣйшихъ превращеній: сегодня онъ Архимедъ, черезъ три дня Цицеронъ, черезъ недѣлю—Гомеръ».

Быть Архимедомъ, Цицерономъ, а черезъ недѣлю Гомеромъ—вещь разумѣется «пріятная во всѣхъ отношеніяхъ», но каковы свойства такого Архимеда? Для опредѣленія ихъ Писаревъ предлагаетъ «вѣрное средство»:

«Положимъ—говоритъ онъ—что сегодня, 21-го мая, экзаменъ изъ географіи происходитъ блистательно. Проходитъ два дня, 24-го числа тѣ же воспитанники приходятъ экзаменоваться изъ латинскаго языка. Пусть тогда объявятъ юношамъ, что экзамена изъ латинскаго языка не будетъ, а повторится уже выдержанный экзаменъ изъ географіи. Вы посмотрите, что это будетъ. По рядамъ распространится паническій страхъ; будущіе друзья науки увидятъ ясно, что они попали въ засаду; начнется такое избіеніе младенцевъ, какого не было со времени неистоваго царя Ирода; кто 21-го мая получилъ 5 балловъ, примирится на трехъ, а кто довольствовался тремя баллами, тотъ не скажетъ ни одного путнаго слова»...

Если Писаревъ отзывается такъ рѣзко, если во всемъ гимназическомъ курсѣ онъ не хочетъ видѣть рѣшительно ничего хорошаго, то виновато быть можетъ въ этомъ то обстоятельство, что во время писанія статьи знаменитому публицисту былъ такъ-же смѣшонъ гимназическій курсъ, какъ и онъ самъ, его собственная личность въ періодъ гимназическихъ годовъ. Кѣмъ и чѣмъ былъ онъ тогда? «Enfant bien élevé», «enfant d'une bonne maison»—ни больше, ни меньше. Онъ самъ откровенно сознается въ этомъ:

«Наша учащаяся молодежь распадается на двѣ рѣзко обозначенныя категоріи: направо идутъ овцы, неспособныя краснѣть; налѣво—козлища, весьма способныя краснѣть, нюнить и лѣниться. Первыя спокойно и радостно тупѣютъ, вторыя злятся и кусаютъ ногти. Изъ первыхъ выходятъ примѣрные чиновники, изъ вторыхъ—широкія натуры, а иногда и даровитые дѣятели... Я принадлежалъ въ гимна-

зіи къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменѣ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнныя достоинства былъ признанъ преуспѣвающимъ... Хотя я и до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о моемъ *развитіи*, но я осмѣливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, проницательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ—романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробовалъ я читать исторію Англіи Маколея, но чтеніе и подвигалось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія умственныхъ силъ... На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшихся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто понимать не можетъ и что природѣ человѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія... Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать „Холодный Домъ", одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ: длинно такъ и много лицъ, и ничего не сообразишь, и шутитъ такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставилъ, порѣшивъ, что «Les trois mousquetaires» не въ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя—зачѣмъ я ихъ слушалъ. Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безнравственными, а Гоголь—писателемъ сальнымъ и въ приличномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его такъ-же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немыслимо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши.»

Писаревъ вѣрно нарисовалъ свой портретъ: во время гимназическаго курса онъ выдавался лишь своими блестящими способностями и удивительной покорностью: изъ него смѣло можно было веревки вить, до того почтительно привыкъ онъ относиться ко всякому авторитету или, прямо говоря,—начальству. Его заставляли изучать латинскую грамматику—онъ изучалъ ее, заставляли маршировать—онъ маршировалъ. Память и способность дѣлали ученье очень легкимъ и помогали получать пятерки на каждомъ шагу. Писаревъ этими пятерками очень гордился и чуть-ли не о каждой

изъ нихъ сообщилъ въ письмахъ своей матери. Возлѣ этихъ пятерокъ сосредоточивалось за этотъ періодъ все его тщеславіе: онъ носился съ ними, какъ носится ребенокъ съ своими игрушками, и—кто-бы могъ предвидѣть, что придетъ день, и почтительный ученикъ 7-го класса, не понимающій даже Диккенса, станетъ во главѣ освободительнаго движенія русской мысли?..

На письмахъ Писарева за это время (1850—56) останавливаться не приходится. Если въ нихъ и есть что-нибудь замѣчательнаго, то никакъ не содержаніе, а лишь форма. Положительно можно залюбоваться, какъ 14—15-ти-лѣтній мальчикъ изящно отдѣлываетъ каждую свою фразу, съ какой легкостью и плавностью разсказываетъ онъ о видѣнномъ и слышанномъ, какъ умѣло обращается онъ съ словомъ—русскимъ или французскимъ безразлично, отыскивая всегда самое подходящее. Пишетъ и говоритъ онъ повидимому съ большимъ удовольствіемъ, ему совсѣмъ не надо принуждать себя: перо само бѣжитъ по бумагѣ, само знаетъ, что надо написать. Замѣтимъ еще, что за это время Писаревъ все чаще обращается къ русскому языку, сплошныхъ «французскихъ» писемъ уже нѣтъ. Форма, повторяю, блестящая, но содержаніе совершенно отсутствуетъ. Все оно сводится къ маленькимъ эпизодамъ гимназической жизни. Чтобы показать всю поразительную невинность 15 и 16-ти лѣтняго Д. И. Писарева, приведу изъ кипы писемъ, относящихся къ 55-му и 56-му годамъ, нѣсколько отрывковъ:

«Depuis plus d'une semaine je suis sujet fidèle d'Alexandre II, car Lundi dernier j'ai prêté serment de fidelité à notre Empereur, à l'église du gymnase. Cela m'a donné un petit sentiment d'orgueil que moi aussi je suis en âge de faire un acte aussi sérieux et de contracter un engagement aussi solennel.» *)

Это трогательно и даже торжественно! Въ слѣдующемъ письмѣ Писаревъ сообщаетъ своему отцу новость, которая очень заинтересовала его самого: «Военнымъ перемѣнили форму; вмѣсто мундировъ дали имъ казакины, полы короткія въ 7 вершковъ, воротникъ у нихъ будетъ разрѣзной. Я уже видѣлъ Вонляревскаго въ

*) «Уже болѣе недѣли, какъ я—вѣрноподданный Александра II-го, потому что прошлый понедѣльникъ принималъ присягу на вѣрность нашему императору въ гимназической церкви. Это вызвало во мнѣ маленькое чувство гордости, такъ какъ я увидѣлъ, что меня считаютъ достаточно взрослымъ, чтобъ совершать такіе серьозные акты и принимать на себя такія торжественныя обязательства.»

этой формѣ; это очень красиво. Генераламъ же новая форма: вмѣсто лосинъ и ботфортъ у нихъ красные брюки съ золотыми лампасами, а на каскѣ султанъ изъ перьевъ вмѣсто волосъ». Дальше Писаревъ переходитъ къ своимъ собственнымъ дѣламъ. «Будете-ли вы катать яйца въ этомъ году?—спрашиваетъ онъ родителей.—Вѣрно будете! И вы также? Неправда-ли, mon chèr oncle? Желалъ бы я провести съ вами эту недѣлю. То-то веселье-то... Я страшно люблю катать яйца... Вчера мы уже нѣсколько разъ катали»...

Передъ вами, словомъ, настоящій ребенокъ, несмотря на свои 16 лѣтъ.

Подобныхъ цитатъ изъ писемъ Писарева можно бы сдѣлать десятки, но я не вижу въ этомъ особенной надобности. Читатель понялъ, надѣюсь, съ какимъ благовоспитаннымъ мальчикомъ имѣетъ онъ дѣло. Мальчикъ изучаетъ латинскую грамматику, мальчикъ маршируетъ, онъ очень доволенъ собой и всѣмъ окружающимъ. Живется ему какъ нельзя болѣе спокойно: въ домѣ родственниковъ относятся къ нему внимательно и ласково, мать издали въ каждомъ письмѣ шлетъ ему свое благословеніе.

Каждое лѣто на каникулы Писаревъ уѣзжалъ къ себѣ домой, въ Грунецъ *). Его тянетъ туда, тянетъ не только привязанность къ матери, не только желаніе погулять и порѣзвиться на свѣжемъ воздухѣ, но и любовь къ кузинѣ Раисѣ. За всѣми перипетіями этой любви, начавшейся еще въ дѣтствѣ, тлѣвшей въ періодъ гимназическихъ годовъ подъ грудой благонамѣренности и вокабулъ всѣхъ языковъ—и ярко разгорѣвшейся въ юности,—намъ придется слѣдить довольно внимательно. Можно прямо утверждать, что эта любовь сыграла въ жизни Писарева громадную роль и была, если можно такъ выразиться, опредѣляющимъ моментомъ въ развитіи его міросозерцанія. Она первая заставила его сдѣлать громадную брешь въ почтительности и привычкѣ во всемъ полагаться на старшихъ; первая поставила Писарева, его личное чувство, его личную страсть въ противодѣйствіе съ окружающей обстановкой и всевозможными авторитетами—отца, матери, дяди. Опираясь на свою любовь и дѣйствуя во имя своего «я», Писаревъ впервые, и притомъ самымъ рѣзкимъ, положительнымъ образомъ, формулировалъ свою теорію эгоизма и право каждаго на самостоятельное счастье, которому дру-

*) Послѣ продажи Знаменскаго Писаревы перебрались въ другое свое имѣніе—Грунецъ.

гіе могутъ сочувствовать или не сочувствовать, но вмѣшиваться въ него, предъявлять ему свои требованія—не смѣютъ. Повторяю, если не придавать значенія этой любви къ Раисѣ, то метаморфоза Писарева изъ овцы въ существо съ рѣзко опредѣленной и ярко выраженной индивидуальностью навсегда должна остаться въ большей или меньшей степени непонятной. Не *все* любовь разумѣется, но во многомъ повинна и она.

Намъ придется вернуться ненадолго къ дѣтскимъ годамъ Писарева. Ему только что минуло 9 лѣтъ, когда на семейномъ совѣтѣ было рѣшено, что отецъ и мать возьмутъ къ себѣ въ домъ на воспитаніе девятилѣтнюю кузину его Раису, у которой нѣсколько времени тому назадъ умерла мать. Черезъ нѣсколько дней дѣти были неразлучны, и маленькій Писаревъ пришелъ въ восторгъ, когда ему объявили, что Раиса поѣдетъ съ нимъ и его родителями въ Грунецъ и будетъ тамъ жить и учиться вмѣстѣ съ нимъ.

«Между двоюроднымъ братомъ и сестрой,—разсказываетъ В. И. Писарева,—въ скоромъ времени сложились странныя отношенія, совершенно впрочемъ логично вытекавшія изъ характеровъ того и другого и изъ тѣхъ логичныхъ особенностей, которыя развила въ нихъ жизнь и воспитаніе. Раиса увидѣла рано лицомъ къ лицу жизнь со всѣми ея сѣрыми, неприглядными сторонами. Съ первыхъ дѣтскихъ лѣтъ судьба бросала ее въ дома разныхъ родственниковъ, изъ которыхъ каждый продѣлывалъ съ ней „кто во что гораздъ“— такъ, одни подвергали ее воспитательнымъ экспериментамъ собственнаго изобрѣтенія, между тѣмъ какъ другіе предоставляли ребенка на произволъ судьбы, ни въ чемъ ему не перечили и имѣли въ виду только физическое воспитаніе... Поэтому Раиса умѣла понимать людей, съ которыми ее сталкивала судьба, сразу, налету, съ поразительной быстротой взгляда схватывать сущность обстановки, въ которую попадала, и, не взявши ни одной фальшивой ноты, сразу-же прилаживаться къ ней. И это несмотря на 9-ти-лѣтній возрастъ. Спеціально женскіе инстинкты были въ ней сильно развиты: она желала нравиться, была кокетлива, и воображеніе ея было сильно развито чтеніемъ всевозможныхъ, для дѣтскаго возраста неподходящихъ, романовъ.»

Такова дама сердца маленькаго Писарева. Какъ рыцарь и кавалеръ, онъ оказался очень настойчивымъ въ своемъ ухаживаньи, нѣсколько впрочемъ неуклюжъ, и быстро пріобрѣлъ симпатіи кузины. Онъ учился вмѣстѣ съ ней, и хотя для Раисы едва-ли былъ особенно пріятенъ переходъ отъ полной свободы къ весьма выдержанному образу жизни, а отъ чтенія всевозможныхъ и даже прямо невозможныхъ романовъ къ изученію вокабулъ французскихъ и нѣмецкихъ и ко всякаго рода развивающимъ и укрѣпляющимъ па-

мять діалогамъ, но она примирилась съ своей участью и недурно устроилась возлѣ своего навѣки преданнаго ей рыцаря, котораго разумѣется совершенно забрала въ свои хорошенькія, маленькія ручки. Тотъ помогалъ ей въ урокахъ, объяснялъ по мѣрѣ силъ, что ей было непонятно, никогда при этомъ не задѣвая ея самолюбія.

Такъ началась любовь, трагическое окончаніе которой намъ скоро придется увидѣть.

III.

«Университетская наука».—Мытарства въ области филологіи и исторіи.—Кружокъ.—Дружба съ Трескинымъ.—Чистая наука.—Начало кризиса.—Семейный раздоръ.

Шестнадцатилѣтній розовый юноша Писаревъ въ 1856 г. поступилъ въ С.-Петербургскій университетъ филологомъ. Для избранія филологіи, какъ спеціальности, были многія основательныя причины. Описавъ свое невинное и близкое къ блаженству состояніе духа за періодъ прохожденія гимназическаго курса, Писаревъ продолжаетъ: «Что-то манило меня въ университетъ; въ словахъ: «студентъ, профессоръ, аудиторія, лекція» заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; что-то свободное, молодое, умное чуялось мнѣ въ студенческой жизни; мнѣ хотѣлось не кутежей, не шалостей, а *какихъ-то* неиспытанныхъ ощущеній, *какой-то* дѣятельности, *какихъ-то* стремленій, которымъ я не могъ дать тогда ни имени, ни опредѣленія, но на которыя непремѣнно разсчитывалъ наткнуться въ стѣнахъ университета...»

Отъ шестнадцатилѣтняго мальчика разумѣется нельзя было и ожидать чего-нибудь болѣе опредѣленнаго, къ тому-же возлѣ него не было никого, кто-бы растолковалъ ему, что̀ надо дѣлать. Самъ-же онъ, любя невѣдомый университетскій міръ въ совокупности, не чувствовалъ никакого особеннаго влеченія къ тому или другому кругу наукъ. Поэтому Писаревъ, полюбовавшись на синеву воротника и на блескъ золоченаго эфеса шпаги, выбралъ факультетъ прямо наугадъ.

«По математическому—рѣшилъ онъ—не пойду, потому что математику ненавижу и въ жизни своей не возьму больше ни одного математическаго сочиненія въ руки; по естественному тоже не пойду,

потому что и тамъ есть кусочекъ математики, да и физика почти то-же самое, что математика; юридическій факультетъ сухъ (это рѣшеніе можетъ показаться довольно отважнымъ, тѣмъ болѣе, что я тогда еще въ глаза не видалъ ни одного юридическаго сочиненія,—но я уже замѣтилъ прежде, что мы мыслимъ афоризмами, такъ случилось и со мною); въ камеральномъ факультетѣ нѣтъ никакой основательности. (Вотъ вамъ еще афоризмъ, который ничуть не хуже предыдущаго). Управившись такимъ образомъ съ четырьмя факультетами, я увидалъ, что передо мной остаются въ ожиданіи только два: историко-филологическій и восточный... Развѣ на восточный? Поѣхать при посольствѣ въ Персію или Турцію... жениться на азіатской красавицѣ?.. Это впрочемъ пустяки... А вотъ что: вѣдь на восточномъ придется осиливать нѣсколько грамматикъ, которыя, пожалуй, будутъ похуже греческой... Ну и Богъ съ нимъ! Значитъ—на филологическій».

На томъ Писаревъ и закончилъ свои размышленія.

Въ атмосферѣ филологическаго факультета онъ быстро проникся научнымъ духомъ. Въ началѣ впрочемъ онъ чувствовалъ себя очень неловко въ обществѣ своихъ-же товарищей студентовъ. Тутъ онъ впервые услышалъ такія вещи, которыя заставили его задуматься. Говорили объ исторической критикѣ, объ объективномъ творчествѣ, объ основѣ миѳовъ, объ отраженіи идей въ языкѣ, о гриммовскомъ методѣ, о міросозерцаніи народныхъ пѣсенъ; ухитрялись даже спорить и, къ ужасу Писарева, разсуждали о тѣхъ критическихъ и ученыхъ статьяхъ въ журналахъ, которыя были ему недоступны, какъ полярные льды. «Я—разсказываетъ Писаревъ—только моргалъ глазами и даже не пытался скрыть того, какъ глубоко удручаетъ меня сознаніе моего внутренняго *безгласія*.»

Итакъ, надо было учиться, чтобы понять эти мудреные термины, эти таинственные вопросы. Но *какъ* учиться? Прежде чѣмъ окончательно выступить на свою дорогу, Писареву пришлось претерпѣть чуть-ли не сорокъ мытарствъ, о наиважнѣйшихъ изъ которыхъ мы упомянемъ:

Мытарство 1-е. Сблизившись съ студентами, проф. Креозотовъ предложилъ имъ однажды предпринять общую работу. Мечтавшій о строго-научной дѣятельности, Писаревъ навострилъ уши. Предложеніе Креозотова состояло въ томъ, чтобы общими силами перевести съ греческаго географическое сочиненіе Страбона. Предложеніе было принято, и каждый желающій получилъ по пяти печатныхъ листовъ довольно мелкаго греческаго текста. «Я—говоритъ Писаревъ—ревностно началъ переводить и потому могу объ-

яснить читателю, что́ эта была за работа. Представьте себѣ, что какой-нибудь господинъ раскрылъ передъ вами атласъ, взялъ въ руки указку и, водя ею взадъ и впередъ по картѣ, разсказываетъ вамъ, что вотъ это мысъ А, а въ двухъ верстахъ отъ него заливъ В... и все въ томъ-же родѣ. И такихъ прогулокъ по атласу набирается листовъ до сорока, а мнѣ предстояло перевести 5,—т. е. 80 страницъ. Читатель понимаетъ конечно, какъ сильно такая работа могла обогатить умъ и какъ важно было для русской публики получить изданіе Страбона въ русскомъ переводѣ... Дѣло, какъ и слѣдовало ожидать, расклеилось. Креозотовъ собралъ растерзанныя части своего Страбона».

Мытарство 2-е. Изученіе кельтической поэзіи. Впрочемъ о судьбѣ этого изученія мы ровно ничего не знаемъ; самъ Писаревъ лишь вскользь упоминаетъ о немъ въ письмѣ къ матери отъ 1857 г., и, надо думать, кельтическую поэзію постигла участь перевода Страбона.

Мытарство 3-е. Еще не раздѣлавшись съ Страбономъ, Писаревъ вздумалъ обратиться къ тому-же Креозотову за совѣтомъ по части строго-научныхъ занятій. Краснѣя отъ волненія, онъ «покаялся» ему, что желаетъ спеціально заняться исторіей и убѣдительно просилъ его объяснить, какъ надо поступать въ такомъ затруднительномъ случаѣ. Выслушавъ исповѣдь юноши, Креозотовъ немедленно посовѣтовалъ ему читать энциклопедію Эрша и Грубера и кромѣ того источники древней исторіи—Геродота, Фукидида и пр. Но, увы!—злой рокъ преслѣдовалъ Писарева. Взявши въ библіотекѣ первый томъ энциклопедіи, онъ увидѣлъ, что даже буква А далеко не исчерпывается этимъ томомъ, который однако оттягивалъ ему руки. Разсчитавъ, что Эрша и Грубера пришлось-бы читать лѣтъ десять,—Писаревъ предпочелъ не тревожить больше ни одного изъ фоліантовъ. Такъ-же поступилъ онъ и съ Геродотомъ.

А между тѣмъ научный духъ не укрощался. Было задѣто и самолюбіе. Трое или четверо изъ близкихъ товарищей Писарева уже отмежевали себѣ ту или другую науку для спеціальныхъ занятій; другіе говорили, что выборъ ихъ еще не установился, но что вотъ они читаютъ то-то и то-то и при этомъ размышляютъ такъ-то и такъ-то. Письма Писарева отъ 57-го года полны мечтами о магистерскомъ экзаменѣ, о каѳедрѣ. Очевидно, эта мечта не даетъ ему ни минуты покоя. Онъ даже подбадриваетъ себя и говоритъ: «я на-

хожусь въ самомъ блаженномъ настроеніи духа: утромъ штудирую Гегеля, вечеромъ читаю Геродота. Наконецъ-то познакомился я съ настоящей наукой!..»

До настоящей науки было однако далеко. Пока онъ аккуратно посѣщаетъ и записываетъ лекціи. Особенно интересовали его лекціи профессора Телицына *), читавшаго теорію языка и исторію древней русской словесности.

«Въ этихъ лекціяхъ,—говоритъ Писаревъ,—было дѣйствительно много хорошаго. Телицыну было лѣтъ тридцать съ небольшимъ: онъ любилъ студентовъ и искалъ между ними популярности; лекціи свои онъ составлялъ съ большой старательностью и всегда заканчивалъ ихъ какой-нибудь фіоритурою, которая неминуемо должна была поднять въ душѣ студентовъ цѣлую бурю добрыхъ и возвышенныхъ чувствъ... Я увлекался въ одно и то-же время и чувствомъ массы, и своею личною потребностью найти себѣ учителя, за которымъ я могъ бы слѣдовать съ вѣрою и любовью. Мысли о занятіяхъ исторіей замерли во мнѣ, благодаря совѣтамъ Креозотова. Въ этихъ мысляхъ никогда не было ничего серьознаго, и я думалъ приняться за исторію только потому, что исторія самая яркая наука нашего факультета; она первая бросается въ глаза, и я схватился за нее, какъ ребенокъ хватается за пламя свѣчи... Теперь-же, когда я всѣмъ сердцемъ возлюбилъ Телицына, теперь, когда онъ гальванизировалъ меня и товарищей моихъ лукавыми хвостиками своихъ лекцій, теперь, когда въ душѣ моей зародилась неудержимое желаніе посвятить себя—чему, зачѣмъ?—ну все равно — чему-бы-то ни было, а только посвятить себя,—наука, истина, свѣтъ, дѣятельность, прогрессъ, развитіе такъ и кувыркались у меня въ головѣ, и это кувырканье казалось мнѣ ужасно плодотворнымъ, хотя изъ него ничего не выходило да и выйти ничего не могло. «Хочу служить наукѣ, хочу быть полезнымъ, возьмите мою жизнь и сдѣлайте изъ нея что-нибудь полезное для науки. Восторгу было много, смыслу мало»...

Мытарство 4-е. Послѣдняя лекція Телицына передъ святками 1856 г. была ознаменована многознаменательнымъ событіемъ. Обожаемый профессоръ сказалъ своимъ слушателямъ, что для пользы науки и для назиданія студентовъ слѣдуетъ перевести нѣсколько умныхъ изслѣдованій и разсужденій. На долю Писарева досталась «зловѣщая брошюра Штейнталя»... Онъ мысленно перекрестился и протянулъ къ ней руку. Брошюра трактовала о «языкознаніи Вильгельма Гумбольдта и философіи Гегеля», и когда Писаревъ приступилъ къ чтенію, то у него съ первыхъ-же строкъ закружилась голова. Онъ не понималъ ни одной фразы и, видя себя

*) Проф. Сухомлинова.

окончательно погибшимъ, рѣшился не читать, а прямо переводить, причемъ, къ его собственному изумленію и «независимо отъ его воли», являлся какой-то общій смыслъ, точно такъ-же, какъ въ чтеніи чичиковскаго Петрушки изъ отдѣльныхъ буквъ всегда составлялось какое-нибудь слово, которое иногда и чортъ знаетъ, что́ значило.

Писаревъ довелъ работу до конца, но конецъ мытарствъ былъ еще очень далекъ. Однажды тотъ-же Телицынъ сообщилъ ему, что недавно вышла въ свѣтъ подробная біографія В. Гумбольдта, написанная Гаймомъ, и что было-бы хорошо, если-бы онъ по этой книгѣ написалъ статью. Писаревъ взялся и за это, и знаете сколько времени, притомъ самаго упорнаго труда, потратилъ онъ на біографію В. Гумбольдта, которая, очевидно, была совершенно ненужна ему—цѣлыхъ 16 мѣсяцевъ!..

Легко было почувствовать послѣ такихъ мытарствъ и испытаній самое искреннее отвращеніе ко всякаго рода принудительной работѣ, тѣмъ болѣе, что эта работа была дѣйствительно принудительная, такъ какъ самъ Писаревъ, совершенно недоумѣвая, что ему дѣлать и какъ осуществить свои восторженныя мечты,—подчинялся каждому совѣту съ тою почтительностью, тѣмъ-же отсутствіемъ скептицизма, которыя характеризуютъ его дѣтскіе и гимназическіе годы.

Но всему есть предѣлъ.

«Еще двѣ-три такія побѣды—говорилъ Пирръ—и мнѣ придется бѣжать изъ Италіи»... «Еще двѣ-три такихъ работы—и мнѣ придется сойти съ ума»—могъ сказать Писаревъ.

*
* *

Дѣйствуя на перекоръ своей природѣ и проводя цѣлые мѣсяцы за тяжелой и утомительной работой, Писаревъ очевидно долженъ былъ находиться подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ. Это и было на самомъ дѣлѣ. Съ одной стороны впечатлѣнія дѣтства внушали ему мысль о необходимости безпрекословнаго повиновенія старшимъ, съ другой—краснорѣчивыя фіоритуры Телицына оказывали свое непремѣнное воздѣйствіе на юную душу, но все-же на первый планъ надо поставить вліяніе товарищескаго кружка и особенно студента Трескина. «Мы,—разсказываетъ Писаревъ о членахъ своего кружка,—называли себя людьми мысли, хотя конечно не имѣли ни малѣйшаго права называть себя такъ. Новые студенты могли назы-

вать Добролюбова своимъ учителемъ, но мы относились къ Добролюбову и «Современнику» вообще съ высокомѣріемъ, свойственнымъ нашей кастѣ. Мы ихъ не читали и гордились этимъ, говоря, что и читать не стоитъ...»

Словомъ, передъ нами кружокъ изъ 8-ми жрецовъ чистой науки. Писаревъ примкнулъ къ нему въ зиму 57 года, т. е. на второмъ уже курсѣ, и всѣмъ своимъ существомъ отдался его жизни и интересамъ. Изъ всѣхъ 8-ми онъ былъ самый младшій и годами, и жизнью; всякому болѣе или менѣе приходилось сталкиваться съ суровыми сторонами дѣйствительности, и только Писаревъ вошелъ въ кружокъ розовымъ птенцомъ прямо изъ-подъ крыла мамаши и тетки. Смѣлыя, восторженныя, хотя весьма неопредѣленныя рѣчи новыхъ товарищей, ихъ юный, весьма незрѣлый скептицизмъ, не выходившій изъ сферы религіозныхъ вопросовъ, сначала ошеломили Писарева, но вскорѣ увлекли его неотразимымъ обаяніемъ чего-то молодого, живого, свѣжаго,—чего онъ ждалъ когда-то въ своихъ гимназическихъ мечтаніяхъ о таинственной студенческой жизни.

И дѣйствительно, нельзя не отдать справедливости кружку, съ которымъ Писарева свели обстоятельства; всѣ его члены, какъ на подборъ, были люди честные, чистые и даже—въ большей или меньшей степени—даровитые. Но, не смотря на всѣ эти благопріятныя условія, этотъ кружокъ, при всѣхъ своихъ свѣтлыхъ сторонахъ, принесъ долю вреда каждому изъ своихъ членовъ. Молодежь не только тѣсно сомкнулась между собой, но и замкнулась въ узкую жизнь своего кружка, совершенно оторвавшись отъ окружающей общей жизни и глядя даже на нее съ нѣкоторымъ высокомѣрнымъ презрѣніемъ. Это были—или только воображали, что были—вдохновенные поэты, рожденные не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ... Съ вдохновеннымъ видомъ, сверкающими глазами и пылающимъ лицомъ молодые люди произносили пламенныя рѣчи о томъ, что надо посвятить свою жизнь наукѣ, надо отдаться всецѣло чистому знанію, надо отказаться во имя святого призванія отъ всѣхъ житейскихъ благъ и наслажденій—словомъ, молодые жрецы науки жаждали зарыться въ фоліанты, поселиться на различныхъ петербургскихъ чердакахъ и предаться священнодѣйствію. На знамени кружка крупными буквами было написано:

«Подвижничество!»

Это подвижничество было столько-же дѣломъ, сколько настро-

еніемъ, преимущественно даже послѣднимъ. Оно-то между прочимъ и заставило посвятить Писарева цѣлыхъ 16 мѣсяцевъ безплодной для него работѣ надъ біографіей В. Гумбольдта.

Ближе всего Писаревъ сошелся съ своимъ товарищемъ Трескинымъ. О послѣднемъ намъ необходимо сказать нѣсколько словъ. Дружба обоихъ студентовъ была основана, кромѣ чисто личнаго, непосредственнаго влеченія, на томъ, что каждый изъ нихъ, хотя и по своему, переживалъ тотъ-же нравственный кризисъ. Болѣзненный, нервно раздражительный, страстно порывистый Трескинъ поддавался свѣтлому обаянію смѣлой и самоувѣренной личности своего товарища. Онъ вносилъ въ свои отношенія къ нему, особенно въ медовые мѣсяцы дружбы, нѣсколько даже сантиментальный характеръ; онъ былъ просто влюбленъ въ Писарева, примѣнялъ къ нему теоріи о различныхъ магнетическихъ токахъ, увѣрялъ, что, даже не глядя въ его сторону, чувствуетъ его приближеніе и т. д. Иногда его нѣжность доходила до смѣшного, онъ ничего не ѣлъ лакомаго, не подѣлившись съ другомъ, причемъ послѣдній трунилъ надъ нимъ и увѣрялъ, что они разыгрываютъ между собой сцены, достойныя Пульхеріи Ивановны и Афанасія Ивановича. Это—несмотря на коренное различіе характеровъ. Писаревъ — *скрытая вольница*, Трескинъ—подвижникъ, хотя и не въ широкомъ масштабѣ.

Трескинъ былъ воплощеніемъ мрачнаго, сосредоточеннаго страданія; несмотря на скептицизмъ въ области религіи, онъ по натурѣ былъ мистикомъ; всякое свое отрицаніе онъ бралъ съ боя, страдая до холоднаго пота и нервной дрожи, часто пугаясь своихъ собственныхъ мыслей, какъ дѣти пугаются своихъ собственныхъ голосовъ въ темной комнатѣ. Каждый смѣлый шагъ въ области мысли немедленно-же вызывалъ въ немъ реакцію въ противуположную сторону, и онъ часто дѣлился съ другомъ своими сомнѣніями, говоря:

— А имѣемъ-ли мы право касаться такихъ вопросовъ, не излишняя-ли это дерзость съ нашей стороны?

Трескинъ бросался на колѣна передъ павшими алтарями со слезами раскаянія на глазахъ, съ глубокой болью въ сердцѣ; онъ отрывалъ отъ себя прошлое съ кровью и мучительными страданіями, потому что невозможно было остановить разъ начавшуюся работу ума. Въ нравственныхъ вопросахъ онъ былъ неумолимо строгъ къ самому себѣ и другимъ; малѣйшая фальшь, малѣйшее уклоненіе отъ какого-то мечтательнаго, невозможно высокаго идеала приводили его въ

негодованіе, и Писаревъ часто, шутя, называлъ его *цензоромъ нравовъ*.

Очевидно, что съ такимъ человѣкомъ Писаревъ могъ быть друженъ лишь до поры до времени, лишь до поры до времени могъ онъ быть друженъ и со всѣмъ кружкомъ. Птенецъ окрылялся очень быстро, а индивидуальность скрытой вольницы тянула совсѣмъ не въ сторону сидѣнія и плаканья на рѣкахъ вавилонскихъ.

Тогда начинался разгаръ 60-хъ годовъ.

Мнѣ думается, что гораздо легче охарактеризовать эту эпоху, чѣмъ прагматически объяснить ее. Попробуйте перечислить причины, вызвавшія это массовое увлеченіе, переродившія старыхъ, одухотворившія молодыхъ. Повидимому эти причины ясны и на виду у всѣхъ. Вліяніе севастопольской кампаніи, раскрывшей наши недостатки, новыя вѣянія, шедшія съ высоты престола, новыя вѣянія, шедшія съ Запада. Быть можетъ, нетрудно однимъ перечисленіемъ причинъ занять цѣлый томъ, включить сюда-же появленіе замѣчательныхъ личностей, какъ въ Россіи, такъ и въ Европѣ. Картина получится красивая, стройная, но можно-ли, положа руку на сердце, поручиться, что она полна? Новыя изслѣдованія несомнѣнно приведутъ къ открытію новыхъ причинъ и т. д., какъ это случилось напр. въ исторіи великой революціи, причинъ которой старательные историки насчитали несообразное множество.

Необходимо, какъ кажется, допустить, что, вслѣдствіе неизвѣстныхъ или по крайней мѣрѣ мало извѣстныхъ (по своей отдаленности отъ исторической эволюціи) обстоятельствъ, одна эпоха, одно поколѣніе выходитъ нѣсколько непохожимъ на другое, какъ непохожи другъ на друга и два лица, двѣ горы, два озера и даже два камня. Разумѣется à la longue каждое подобіе и сходство имѣетъ свои законныя основанія—но дѣло не въ основаніяхъ, а вотъ въ чемъ: дайте двумъ различнымъ поколѣніямъ тѣ-же самыя внѣшнія условія жизни, и вы увидите, что каждое изъ нихъ поведетъ свое дѣло по своему. Мы въ 60-ые годы совершили-бы нѣсколько другое, чѣмъ наши отцы.

Бываютъ эпохи, когда общество состоитъ изъ личностей особенно пластичныхъ, особенно воспріимчивыхъ, налету схватывающихъ новыя вѣянія; бываютъ эпохи гораздо болѣе тяжелыя и скучныя—личности нелегки на подъемъ и глухи ко всему, что не но-

ситъ на себѣ печати старины. Значеніе внѣшнихъ условій ничуть отъ этого не умаляется, такъ какъ степени воспріимчивости и глухоты могутъ быть очень различны.

60-ые годы были движеніемъ массовымъ, движеніемъ, охватившимъ значительную часть общества и проникшимъ въ такіе уголки, что просто приходится диву даваться, какъ это такъ могло произойти. Другой разъ недостаточно десяти томовъ капитальнѣйшаго научнаго изслѣдованія, чтобы убѣдить въ чемъ-нибудь человѣка, тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва? Но отвѣтить такъ,—значитъ ровно ничего не отвѣтить.

Пластичность и воспріимчивость людей 60-хъ годовъ рѣзко бросаются въ глаза, какъ только начинаешь знакомиться съ бо́льшимъ числомъ біографій людей того времени. Мысли и убѣжденія хватались тогда на лету съ такой-же нетерпѣливой страстностью, такой-же удивительной торопливостью, какъ это было, скажемъ, въ иныя эпохи французской или нѣмецкой исторіи. Эта «физіологическая» сторона историческихъ явленій разработана такъ мало, что гораздо легче указать на нее, чѣмъ разъяснить. А между тѣмъ странно было-бы отрицать ея значеніе, еще страннѣе отрицать самый фактъ ея существованія.

Сенсимонисты дѣлили исторію на эпохи критическія и органическія. Имъ возражали на это: каждая эпоха организуетъ, каждая критикуетъ. Возраженіе основательное. Но отчасти правы и сенсимонисты, и для этого стоитъ только измѣнить ихъ формулу и сказать: одна эпоха преимущественно критикуетъ, другая преимущественно организуетъ.

Почему?

Едва-ли хотя одинъ историкъ возьмется въ настоящее время подробно и полно отвѣтить на этотъ вопросъ. Когда въ исторію начинаютъ врываться такія явленія, какъ подражаніе, внушеніе, наслѣдственность,—то разъяснять историческія событія становится дѣломъ куда нелегкимъ.

Поэтому, когда мнѣ говорятъ, что 60-ые годы вызваны тѣмъ-то и тѣмъ-то, я согласенъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ-бы не хотѣлось вычеркивать особой пластичности и воспріимчивости того поколѣнія.

С. В. Ковалевская въ своихъ въ высшей степени любопытныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ разсказываетъ о томъ переполохѣ,

который произошелъ въ ихъ уѣздѣ при первомъ-же заревѣ 60-хъ годовъ.

«Жили—читаемъ мы—себѣ жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились другъ съ другомъ; ради препровожденія времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи или другого научнаго открытія, вполнѣ убѣжденные однако, что всѣ эти вопросы принадлежатъ чуждому, удаленному отъ нихъ міру и никогда непосредственнаго соприкосновенія съ ихъ обыденной жизнью имѣть не будутъ. И вдругъ, откуда ни возьмись совсѣмъ рядомъ съ ними объявились признаки какого то страннаго броженія, которое несомнѣнно подступало все ближе и ближе и грозило подточиться подъ самый строй ихъ тихой, патріархальной жизни. И не только съ одной какой нибудь стороны грозила опасность; она шла какъ будто разомъ, отовсюду. Можно сказать, что въ этотъ промежутокъ времени, отъ начала 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, всѣ интеллигентные слои русскаго общества были заняты только однимъ вопросомъ: семейнымъ разладомъ между старыми и молодыми. О какой дворянской семьѣ не спросишь въ то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились съ дѣтьми. И не изъ за какихъ нибудь вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры, а единственно изъ за вопросовъ чисто теоретическаго, абстрактнаго характера. «Не сошлись убѣжденіями!»—вотъ только и всего, но этого «только» вполнѣ достаточно, чтобы заставить дѣтей побросать родителей, а родителей—отречься отъ дѣтей. «Дѣтьми», особенно дѣвушками, овладѣла въ то время словно эпидемія какая-то—убѣгать изъ родительскаго дома. Въ нашемъ непосредственномъ сосѣдствѣ пока еще Богъ миловалъ, все обстояло благополучно; но изъ другихъ мѣстъ уже приходили слухи: то у того, то у другого помѣщика убѣжала дочь, которая за-границу—учиться, которая въ Петербургъ—къ «нигилистамъ.»

Самъ Писаревъ разсказываетъ намъ въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующее:

«Уже въ 1858 и 1859 гг. студенты, поступившіе въ университетъ, не были похожи на насъ, студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университетъ, мы были робки, склонны къ благоговѣнію, расположены смотрѣть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на пищу духовную и какъ на манну небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смѣлы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той-же благотворительной цѣли; они устроили студенческую библіотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы и только.» Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успѣшно; оказалось, что движеніе и мысль пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ.»

А вѣдь всего на всего прошло 2 года!... Но, подхваченные массовымъ одушевленіемъ,—люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самихъ себя.

Нечего поэтому удивляться той быстротѣ и рѣзкости переворота, который произошелъ въ благовоспитанномъ Писаревѣ. Это, повторяю, было вполнѣ въ духи эпохи. Но этотъ переворотъ все-же

имѣлъ свои переходныя ступени и явился, такъ сказать, равнодѣйствующей цѣлаго ряда причинъ.

Я уже упоминалъ о томъ, что университетская жизнь не могла не отразить на себѣ вѣянія времени. Съ молодежью заговорили другимъ языкомъ; лекціи профессоровъ оживились; съ каѳедры раздавались слова, которыя привели-бы въ неописанный ужасъ блюстителей порядка въ предшествующую эпоху; студентамъ были разрѣшены сходки; завѣдываніе кассой было передано въ ихъ распоряженіе; университетской молодежи было, словомъ, дано нѣчто вродѣ внутренняго самоуправленія, разумѣется весьма узкаго, но все-же преисполнившаго студентовъ гордостью и восторгомъ; между профессорами и учащейся молодежью стали завязываться простыя, почти товарищескія отношенія.

Эти новшества разстраивали кружокъ. Съ каждымъ днемъ ряды ученой партіи рѣдѣли, отчасти потому, что ученые кончали курсъ и поступали на службу въ разные департаменты, гдѣ они очень быстро затушевывались подъ общій тонъ чиновничества, отчасти и потому, что нѣкоторые ученые перебѣгали на сторону новыхъ студентовъ и дѣлались сами антагонистами университетской учености. Университетъ сближался съ жизнью лучшей части общества. Съ нею-же сближался и Писаревъ.

Между тѣмъ какъ восторженный и фанатическій Трескинъ все больше предавался созерцанію вѣчнаго идеала и, возлюбивши всѣмъ юнымъ сердцемъ своимъ знаніе вообще и исторію среднихъ вѣковъ въ особенности, мечталъ обручиться съ своей мистической невѣстой— наукой и водвориться вмѣстѣ съ ней на чердакѣ вдали отъ шума городскихъ улицъ и соблазновъ міра, Писаревъ съ особеннымъ наслажденіемъ отдался университетской жизни съ ея шумомъ и гамомъ, ея сходками и удовольствіями.

На сходкахъ онъ говорилъ больше всѣхъ, кричалъ громче всѣхъ, и все это съ такимъ жаромъ и увлеченіемъ, что казалось готовъ былъ душу положить за дорогое товарищество. Во время скандаловъ съ профессорами не было человѣка болѣе рьянаго, чѣмъ онъ.

Быстро идеалъ чистой науки померкъ въ глазахъ Писарева. Вдыхая въ себя полной грудью окружавшую его атмосферу, онъ проникался ея настроеніемъ, а это настроеніе было совсѣмъ не научное, но чисто публицистическое. Повсюду являлись новшества и на практикѣ, разумѣется, каждому изъ новаторовъ приходилось столкнуться прежде всего съ семьей. Семья, основываясь на старыхъ традиціяхъ, считала себя вправѣ предъявлять вскормленному и вспоенному ею юношѣ свои требованія. Но удовлетворить имъ въ виду новыхъ вѣяній становилось все труднѣе. Прежде изъ рукъ семьи, которая кормила, поила, холила и дисциплинировала, личность прямо и непосредственно переходила въ руки государства, которое дисциплинировало, кормило, поило, но холило мало. Это былъ ея заколдованный кругъ. Теперь появилось «общество», «общественныя задачи,» общественные идеалы». Можно прямо сказать, что 60-е годы открыли въ Россіи *общество*, каковаго раньше на сценѣ не было, развѣ въ случайныя экстренныя минуты затруднительнаго состоянія отечества.

Большинству изъ дѣятелей 60-хъ годовъ пришлось, повторяю, столкнуться съ семьей. Писаревъ не только не избѣгъ общей участи, но и претерпѣлъ ее до конца.

Слыша объ университетскихъ подвигахъ своего благовоспитаннаго племянника, дядя и тетка Писарева покачивали головами и были смущены тѣмъ болѣе, что ничего подобнаго они никогда не

ожидали и ожидать не могли. Дядя сталъ дѣлать замѣчанія, которыя—увы!—приводили къ совершенно противнымъ имѣвшимся въ виду результатамъ,—и наконецъ махнулъ рукой, объявивши, что Dmitry a mal tourné et devint un Saint-Juste en miniature *). Писаревъ-же продолжалъ свое дѣло, сталъ показываться все рѣже и рѣже въ гостинной своихъ родственниковъ, гдѣ *теперь* онъ уже задыхался отъ царившей тамъ благочестивой и томительной скуки, и вмѣсто гостинной бѣжалъ куда нибудь къ товарищу отводить душу или на сходку. Особенно огорчила старика-дядю слѣдующая выходка племянника: въ семьѣ было принято служить всенощную наканунѣ именинъ главы дома, но какъ разъ въ этотъ день была назначена сходка, и Писаревъ, несмотря на всѣ уговоры, категорически заявилъ, что на церковной службѣ онъ не будетъ. Это переполнило чашу,—и по безмолвному соглашенію было рѣшено разъѣхаться, чтобы не встрѣчаться больше въ жизни.

Рѣзкость и вызывающій тонъ такихъ поступковъ непріятнымъ образомъ поразятъ быть можетъ мягкую душу благонамѣреннаго читателя, и лично самому мнѣ ни рѣзкость, ни вызывающій тонъ никогда не нравились. Но что дѣлать: чѣмъ туже стянуты пеленки, тѣмъ болѣе энергичныя движенія нужны, чтобы расправить члены. А пеленки, въ которыхъ обрѣтался Писаревъ до 18-ти лѣтъ, были затянуты туго, очень туго.

Гораздо болѣе серьозныя столкновенія ожидали его у себя дома, въ Грунцѣ. Обновившись, съ своей обычной рѣзкостью и прямолинейностью онъ высказалъ это своей матери. Та съ малолѣтства сжилась съ убѣжденіемъ, что въ Бога и родителей надо вѣрить

*) Дмитрій пошелъ по плохой дорогѣ и сталъ маленькимъ Сенъ-Жюстомъ.

свято, а послѣднимъ сверхъ того повиноваться безпрекословно. Въ сынѣ своемъ старалась она воплотить свой идеалъ человѣка, казалось, добилась своей цѣли, и вдругъ совершенно неожиданно все это разлетѣлось въ прахъ. Писаревъ рѣзко и прямо объявилъ ей, что хочетъ жить и любить сознательно, что для человѣческаго достоинства ихъ обоихъ одинаково оскорбительно положеніе кумира и колѣнопреклоненнаго правовѣрнаго. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и когда изъ области отвлеченностей перешли къ вопросамъ практической жизни, Писаревъ на вопросъ матери—послушался-ли бы онъ ея и женился-ли бы противъ ея воли, объявилъ, что для него любимая женщина стоитъ выше всего въ мірѣ, что своей любви и своего счастья онъ не станетъ ломать ни для кого, и закончилъ рѣчь, высказавши, что онъ твердо рѣшился жениться на Раисѣ, хотя знаетъ, что родители этого не хотятъ.

Das ist Standpunkt *), какъ говорятъ нѣмцы.

Дѣтская влюбленность Писарева успѣла за это время обратиться въ любовь и сосредоточила возлѣ себя всѣ его помыслы и вожделѣнія. Съ самаго дня отъѣзда въ гимназію онъ писалъ Раисѣ свои откровенныя, хорошія письма; пріѣзжая домой на каникулы, онъ столько-же радовался свиданію съ матерью, сколько свиданію съ той, образъ которой наполнялъ его дѣтскія и юношескія грезы.

Но тутъ-же на первыхъ порахъ онъ попадаетъ въ положеніе Ромео и видитъ цѣлый заговоръ, направленный противъ его счастья, противъ всего его будущаго. Жизни безъ Раисы онъ въ то время представить себѣ не могъ. А между тѣмъ семья и всѣ старыя па-

*) Это главное.

тріархальныя традиціи сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что такъ не будетъ и что такъ быть не должно.

Любовь къ Раисѣ и противодѣйствіе этой любви и дали, по моему мнѣнію, плоть и кровь тѣмъ отвлеченнымъ, теоретическимъ воззрѣніямъ, которыя усвоилъ онъ себѣ за это время, подчиняясь общему настроенію.

Съ какой точки зрѣнія могъ онъ защищать противъ матери, противъ семьи, противъ всего въ мірѣ наконецъ—свою любовь?

Этой точкой зрѣнія должно было явиться нравственное достоинство личности, ея право на собственное счастье...

Вглядываясь пристальнѣе въ умственное движеніе 60-хъ годовъ, мы видимъ, что общій его характеръ былъ по преимуществу протестующій. Протестъ естественно направлялся противъ тѣхъ основъ или вѣрнѣе тормазовъ, которыя дѣлали неподвижнымъ строй прежняго времени. Основами этими были патріархальность семьи и общественнаго режима. Обѣ эти дѣйствующія силы съ своей дисциплиной, съ своимъ настойчивымъ стремленіемъ подчинить себѣ мысль, волю и трудъ человѣка, съ своимъ безусловнымъ «veto» и столь-же безусловнымъ *да будетъ* давили личность тяжестью своей вѣковой старины и авторитета. Онѣ отлились въ опредѣленныя, рѣзко очерченныя формы, перенеся передряги и неудачи; выразившись съ такой полнотой, съ какой возможно только выразиться, онѣ окаменѣли, и стояли какъ сфинксы,—неподвижные и неизмѣнные. Эти сфинксы, какъ въ извѣстномъ греческомъ миѳѣ, могли уступить свое мѣсто и посторониться, чтобы очистить дорогу новшествамъ и молодой жизни, лишь въ томъ случаѣ, когда найдено будетъ слово, разрѣшающее ихъ вѣковую загадку. Исторія знаетъ такое слово и на сотни ладовъ постоянно повторяетъ его. Это слово — человѣкъ, личность.

Эмансипація личности—вѣчный лозунгъ всякаго прогрессивнаго движенія; такой-же лозунгъ былъ и у 60-хъ годовъ.

Правда, та-же эпоха, эмансипировавъ личность, поспѣшила подчинить ее новому авторитету—авторитету общества, но начало потока—тамъ-же, гдѣ вообще начинаются историческіе потоки.

Воспринявши идею эмансипаціи личности въ ея отвлеченной, теоретической формѣ, Писаревъ сразу-же въ обстоятельствахъ личной своей жизни нашелъ ей практическое примѣненіе. Любовь къ

Раисѣ—какъ фонъ, женитьба на ней—какъ идеалъ, дали его взглядамъ и стремленіямъ ту плоть и нервы, которые впослѣдствіи съ такимъ блескомъ выразились въ его пропагандѣ личнаго счастья.

Этимъ онъ защищалъ самого себя, самое дорогое, что́ было въ его жизни,—тѣмъ гуще и ярче были краски, тѣмъ пластичнѣе образы.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ мучительно все это было! Протестующія начала, прежній патріархальный строй, прежнія семейныя традиціи, настойчивыя, требовательныя, угрожающія даже, являлись и передъ 18-ти-лѣтнимъ Писаревымъ не въ образѣ признанныхъ враговъ, а въ образѣ любимой матери, которая не могла и не смѣла бороться, а могла лишь кротко упрекать со слезами на глазахъ, съ безконечной грустью въ чертахъ дорогого лица! Тяжела ты, шапка Мономаха, а еще тяжелѣе жестокая необходимость ломать счастье близкаго человѣка во имя безусловныхъ правъ своей нравственной личности...

Началась семейная трагедія со всѣми ея тяжелыми, неизбѣжными послѣдствіями. Въ мирную, любовную жизнь Писаревыхъ впервые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дѣти, какъ въ большинствѣ тогдашнихъ русскихъ семействъ, стояли другъ противъ друга, не понимая другъ друга, обмѣниваясь то недоумѣвающими, то враждебными взглядами...

Но намъ необходимо вернуться нѣсколько назадъ и разсказать о томъ, какъ началась литературная дѣятельность Д. И. Писарева.

IV.

Начало литературной дѣятельности.—„Разсвѣтъ“ Кремпина.—Писаревъ нашелъ себя.—Научныя потуги.—Кризисъ приближается.

«Въ началѣ зимы 58-го года,—разсказываетъ Писаревъ,—мнѣ удалось найти работу въ одномъ журналѣ для дѣвицъ («Разсвѣтъ» Кремпина), начинавшемъ свое существованіе въ началѣ 59-го. Мнѣ было поручено вести въ этомъ журналѣ библіографическій отдѣлъ, т. е. указывать юнымъ читательницамъ на тѣ книги и журнальныя статьи, которыя могутъ обогатить ихъ умъ, не вредя чистотѣ и непорочности ихъ сердца. Направленіе журнала было сладкое, но приличное, и отъ изданій г-жи Ишимовой онъ отличался значительно. Мы даже за эмансипацію женщины стояли, стараясь конечно не огорчать та-

кими сужденіями почтенныхъ родителей. Добродѣтель мы любили особенно горячо и объ ней говорили уже совершенно смѣло, такъ какъ добродѣтель—предметъ одинаково пріятный и для дѣтей, и для родителей.

«Сначала я взглянулъ на свою новую работу преимущественно съ денежной точки зрѣнія: мои библіографическія замѣтки оплачивались по 30 р. с. за печатный листъ и доставляли мнѣ ежемѣсячно отъ 60 до 70 р. с. Для студента, бѣгавшаго въ публичную библіотеку, чтобы не издержать 5 рублей на книгу, это была цѣлая Калифорнія, я и ухватился за эту работу обѣими руками, чтобы удержать ее за собой. Редакторъ мой конечно замѣтилъ это, остался очень доволенъ моими стараніями, и мѣсяца черезъ два послѣ нашего знакомства мы уже были увѣрены, что не разстанемся безъ особенной необходимости, потому что оба чувствовали, насколько мы полезны другъ другу. Нечувствительно забралась ко мнѣ въ голову мысль, что эта работа можетъ поддерживать меня и послѣ выхода изъ университета. Стало быть, думалъ я, если даже я не отыщу себѣ прочной спеціальности, бѣда не такъ велика, жить можно; чѣмъ яснѣй вырисовывалась для меня эта утѣшительная перспектива, тѣмъ сильнѣе я дорожилъ моей журнальной работой. Редакторъ поговаривалъ даже о томъ, что, когда я выйду изъ университета, онъ попроситъ меня быть его помощникомъ по редакціи. При мысли о такомъ повышеніи и благополучіи, я чувствовалъ даже головокруженіе и отвѣчалъ, опуская глаза, что всегда готовъ служить нашему общему дѣлу. Между тѣмъ работа начинала дѣйствовать на меня не съ одной денежной стороны: я привязывался къ ней искренне и сильно. Я писалъ свои жиденькія и невинныя статейки съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіей Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ передъ собой близкую и вполнѣ доступную цѣль этого всматриванья и вдумыванья. Мнѣ было пріятно развивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполнѣ понималъ, что я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался объяснить или доказать. Я не производилъ ничего новаго и оригинальнаго, но для меня это было и ново, и оригинально.

«Для составленія моихъ библіографическихъ обзоровъ мнѣ приходилось читать много разнообразныхъ книгъ и статей, и мнѣ нравилось не только размышленіе и писаніе, но и пестрое чтеніе само по себѣ. Вся эта масса книгъ и статей составляла самый разнообразный сбродъ, но и во всемъ этомъ сбродѣ чувствовалось то обаятельное вѣяніе жизни, безъ котораго не можетъ существовать самый мрачный изъ современныхъ журналовъ. Мнѣ пришлось прочитать много историческихъ статей Маколея, Прескотта и Мотлея, много педагогическихъ разсужденій, нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ. Наконецъ въ 1859 году мнѣ пришлось говорить довольно подробно въ нашемъ журналѣ объ *Обломовѣ* и *Дворянскомъ гнѣздѣ*.

Словомъ, библіографія моя насильно вытащила меня изъ закупоренной кельи на свѣжій воздухъ, и этотъ переходъ доставилъ мнѣ грѣховное удовольствіе, котораго я не могъ скрыть ни отъ самого себя, ни отъ другихъ.»

Итакъ, Писаревъ нашелъ себя.

Достаточно, думается намъ, прочесть любую статью Писарева, помѣщенную въ любомъ изъ десяти томовъ его сочиненій, чтобы убѣдиться, что передъ вами настоящій, доподлинный журналистъ. «Поэты родятся», но «родятся» и журналисты. Само собою разумѣется, что путемъ усиленнаго труда, путемъ утомительной настойчивости можно выработать изъ себя все, что угодно—скрипача, романиста, скульптора—нельзя выработать въ себѣ лишь одной способности, безъ которой нѣтъ и не можетъ быть искусства, т. е. творчество. Можно сдѣлаться кѣмъ угодно, нельзя лишь сдѣлаться поэтомъ. Для этого нужны спеціальныя дарованія, а ихъ даетъ лишь «природа-мать»...

Все равно какъ музыканту нуженъ исключительный слухъ, художнику—зрѣніе, способное различать оттѣнки и переливы самыхъ близкихъ другъ другу цвѣтовъ, архитектору—чувство симметріи, такъ и журналистъ не можетъ обойтись безъ спеціальныхъ дарованій.

Такихъ дарованій у Писарева было въ избыткѣ, и несомнѣнно, что, выступая въ журналѣ Кремпина, онъ нашелъ наконецъ свою настоящую дорогу.

Уже въ немъ-ребенкѣ можно было ясно различить силу и способность выраженія; едва начиная лепетать, онъ «любилъ уже закруглять и отдѣлывать свои фразы». 7-ми лѣтъ онъ принялся за писаніе своего чудовищнаго «Романьола», просиживая цѣлые дни за этимъ безконечнымъ произведеніемъ своей фантазіи. Все это его собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, съ которой онъ всегда защищалъ свои мнѣнія, та постоянная готовность спорить до слезъ, какой онъ отличался уже въ тѣ годы, когда у другихъ едва начинаетъ пробуждаться умъ? Вѣра въ свою мысль, потребность развивать ее, еще высшая потребность распространять эту мысль и привлекать на ея сторону, а иногда просто порабощать ей другихъ—вотъ качество, безъ котораго журналистъ — простой поденщикъ и ремесленникъ.

Въ мысли журналиста—истиннаго разумѣется — есть всегда

что-то деспотическое, прямолинейное. Мысль эта дѣйствуетъ столько-же на умъ, сколько на чувство и волю, заставляетъ себя любить и ненавидѣть. «Она всегда нравственна» въ научномъ смыслѣ слова, т. е. прямо или косвенно ведетъ къ поступкамъ. Въ ней необходимъ практическій, дѣйствующій элементъ, иначе она не можетъ быть силой.

Несмотря на всѣ свои попытки стать во что-бы то ни стало человѣкомъ науки, Писаревъ, потрать онъ на это даже не два, а цѣлыхъ 22 года, едва-ли бы добился своей цѣли. Его мысли не хватало ни спокойствія, ни медлительной настойчивости; слишкомъ горячая и страстная, она неслась безъ удержу, перепрыгивая черезъ препятствія, въ упоеніи отъ своей собственной красоты, силы и граціи. Она всегда клонилась къ тому-же къ оправданію и обвиненію, такъ какъ мысль эта была дѣйствующая, а не созерцательная. Вопросъ: *что дѣлать? что выйдетъ изъ этого?*—былъ для нея важнѣйшимъ.

Легкость и быстрота мысли, способность сразу овладѣвать сущностью предмета, отсутствіе той умственной настойчивости, которая обращаетъ столько-же вниманія на мелочи и подробности, какъ и на главное, т. е. настойчивости, создавшей Дарвина, Бэкона, мѣшали Писареву стать человѣкомъ науки.

Другъ его Трескинъ постоянно преслѣдовалъ его за недостатокъ усидчивости въ трудѣ и упорства въ работѣ. Для Писарева достаточно было малѣйшаго толчка, самаго слабаго, едва брошеннаго намека, и онъ развивалъ мысль дальше, доводилъ ее до послѣднихъ логическихъ предѣловъ и излагалъ ее въ самой блестящей формѣ. Какъ истинный журналистъ, онъ былъ виртуозомъ изложенія.

Данныя природы влекли его къ журналистикѣ, случай и обстоятельства времени позволили ему рано — быть можетъ даже слишкомъ рано—«открыть самого себя».

Но—такова несчастная судьба Писарева: стоило ему только въ въ чемъ бы то ни было послушаться голоса своей природы и пойти за нимъ, какъ немедленно-же въ томъ или другомъ видѣ возставалъ противъ него призракъ долга съ цѣлымъ запасомъ жалкихъ или угрожающихъ словъ. Онъ любитъ Раису и хочетъ жениться на ней, лишь въ этомъ одномъ полагая счастье свое,—семья не соглашается, семья протестуетъ, семья устраиваетъ всевозможныя препятствія.

Ему надоѣла наука, по крайней мѣрѣ та глупая наука, которой

онъ по неопытности своей занимался цѣлыхъ два года. На лекціяхъ и при видѣ филологическихъ сочиненій онъ начинаетъ ощущать новую тяготу. Мысль его неудовлетворена, а между тѣмъ она—молодая, настойчивая, пытливая—ищетъ живой дѣятельности, которая развивала бы ее и, давая ей необходимый просторъ, вела-бы къ правдѣ и свѣту. Кажется это найдено. Журнальная работа и связанное съ ней пестрое чтеніе приходятся Писареву по душѣ. Онъ горячо увлекается новымъ занятіемъ, инстинктивно предчувствуя въ немъ дѣло всей своей жизни...

И что-же?

Призракъ долга опять возстаетъ противъ него, и притомъ еще разъ въ самой непріятной формѣ.

«Товарищи мои (т. е. жрецы науки),—разсказываетъ онъ,—стали внушительно качать головами, говоря, что конечно журнальной работой заниматься позволительно для пріобрѣтенія матеріальныхъ средствъ, но что увлекаться ею не слѣдуетъ, потому что она отводитъ человѣка отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и пагубный диллетантизмъ. Мнѣ указывали съ соболѣзнованіемъ на поучительный примѣръ Добролюбова, который, видите-ли вы, могъ-бы быть дѣльнымъ ученымъ, а вмѣсто того сдѣлался пустымъ журналистомъ и увлекся суетою «Современника». Я съ своей стороны старался увѣрить всѣхъ въ моей невинности, открещивался отъ примѣра Добролюбова и говорилъ, что никогда не пойду по такому предосудительному пути. Остатокъ прошедшаго, мертвый догматъ все еще висѣлъ надъ моей головой, и я употреблялъ послѣднія усилія, чтобы поддержать мою угасавшую вѣру въ величіе и святость филологіи.»

Особенно энергично набросился на него излюбленный другъ и товарищъ Трескинъ. Тотъ, не разобравшій сначала, въ чемъ дѣло и къ какимъ результатамъ можетъ привести Писарева сотрудничество въ «Разсвѣтѣ», и взглянувшій на это занятіе довольно благосклонно, замѣтилъ, что вещи идутъ не совсѣмъ такъ, какъ онъ думалъ, и принялся менторствовать. Онъ сталъ говорить другу жалкія слова, вродѣ того, что Писаревъ продалъ душу дьяволу, что онъ гоняется за грошами и пренебрегаетъ изъ-за презрѣнной прозы своимъ великимъ истиннымъ призваніемъ, что изъ него можетъ выработаться такой-же пустословъ, какъ Добролюбовъ, словомъ, сталъ совѣтовать или совершенно бросить «Разсвѣтъ», или отказаться отъ критическаго отдѣла и, чтобы не потерять заработка, взяться за переводы, которые не могли занимать столько времени, да и не отвлекали-бы мысль отъ серьозныхъ занятій.

Писаревъ раздражался этими совѣтами и увѣщаніями: съ одной стороны ему было больно и тяжело видѣть въ своемъ другѣ полное несочувствіе тому, что такъ сильно увлекло и занимало его, придавая новый смыслъ его умственной дѣятельности, съ другой—онъ глубоко возмущался педантизмомъ Трескина и его полнѣйшимъ непониманіемъ тѣхъ нравственныхъ мотивовъ, которые руководили имъ самимъ. Особенно оскорблялъ его упрекъ въ пристрастіи къ презрѣнному металлу. Писаревъ былъ всегда безсребренникомъ, хотя нѣкоторыя лица, съ которыми ему приходилось имѣть денежныя дѣла, быть можетъ считали его инымъ, когда онъ безцеремоннѣйшимъ образомъ уличалъ ихъ въ попыткѣ сбарышничать и заставлялъ выплачивать себѣ все до послѣдней копѣйки. Грошовые разсчеты и практическія соображенія всегда отходили у него на задній планъ, а сотрудничество въ «Разсвѣтѣ» было ему мило совершенно независимо отъ матеріальныхъ соображеній.

Но Трескинъ стоялъ на своемъ, ежедневно пилилъ Писарева, ярко рисовалъ ему идеалъ суроваго нравственнаго аскетизма и, встрѣчая противодѣйствіе, патетически восклицалъ:

— Ты погибъ!..

Видя наконецъ, что Писарева нельзя отвлечь отъ литературной работы, Трескинъ сталъ настаивать, чтобы онъ извлекъ изъ нея хотя-бы косвенную пользу, посвятивши ее систематической популяризаціи какой-нибудь спеціальности.

— Да нѣтъ ея у меня, этой спеціальности, пойми-же ты наконецъ, милый,—тоскливо восклицалъ Писаревъ, тѣмъ болѣе раздражаясь, что отсутствіе этой самой спеціальности все-таки грызло его въ глубинѣ души и составляло его больное мѣсто...

Тогда Трескинъ перемѣнилъ тактику и съ видомъ глубочайшей научной добросовѣстности и неменьшаго научнаго безпристрастія сталъ обсуживать всякую статью, выходившую изъ-подъ пера Писарева, который прежде, чѣмъ отправлять свой трудъ въ печать, читалъ его другу, иногда горячо спорилъ съ нимъ, но все-же отдавался ему на судъ, хотя статей по его указаніямъ не передѣлывалъ.

Судъ происходилъ такимъ образомъ. Писаревъ прочитывалъ какую-нибудь фразу, обыкновенно афоризмъ или парадоксъ, которые съ такой поразительной легкостью выходили изъ-подъ его пера. Трескинъ, поправляя очки, скромно вопрошалъ:

— А на чемъ это основано?

Начинался споръ.

— А ты читалъ то-то и то-то?—продолжалъ Трескинъ, и такъ какъ Писаревъ обыкновенно не читалъ, то этого было достаточно, чтобы упрекнуть его въ легкомысліи и пристрастіи къ словоизверженію.

Это была своего рода инквизиція, ежедневная и ежеминутная. Самъ Писаревъ не могъ не сознавать, что доля правды есть въ словахъ его друга, что на самомъ дѣлѣ онъ знаетъ слишкомъ мало — да и что особенно можно знать въ 18 лѣтъ? но когда эта доля правды преподносилась ему въ видѣ однихъ упрековъ и укоровъ, мучительно дѣйствовавшихъ на самолюбіе, преподносилась къ тому-же лучшимъ его другомъ и товарищемъ, — онъ раздражался и мучился.

Упрекъ въ научной неосновательности приходилось слышать каждому изъ нашихъ журналистовъ. Упрекали въ этомъ Бѣлинскаго, Чернышевскаго, Добролюбова, упрекали и Писарева. Даже Н. К. Михайловскій, несомнѣнно самый «научный» изъ нашихъ публицистовъ, не разъ подвергался той-же участи, т. е. тѣмъ-же упрекамъ.

Происходитъ это, мнѣ думается, отъ двухъ причинъ. Во-первыхъ отъ нежеланія разграничить область науки и журналистики, а во-вторыхъ отъ той легкости, съ какою можно критиковать журнальную статью, ставши на «научную точку зрѣнія».

Журналистика близка къ наукѣ, и несомнѣнно, чѣмъ ближе она къ ней, чѣмъ больше принимаетъ она во вниманіе научное движеніе—тѣмъ лучше. Но все-же области и методы ихъ совершенно различны. При томъ состояніи, въ какомъ обрѣталось лѣтъ 30—50 тому назадъ, а пожалуй и теперь еще обрѣтается—русское общество, наука можетъ оказывать вліяніе на самую незначительную часть его, на весьма незначительный кружокъ избранныхъ. Но тормошить необходимо, необходимо будить мысль и расширять кругозоръ читателя. Журналистъ достигаетъ этого столько-же аргументаціей, сколько и обаяніемъ своего изложенія и своей личности. Выводъ науки, всегда отвлеченный, всегда слишкомъ общій, онъ обязанъ приспособить къ данному состоянію общества, къ размѣрамъ его пониманія, къ практическимъ задачамъ, предстоящимъ ему, иначе голосъ его будетъ голосомъ вопіющаго въ пустынѣ, а его статья — горохомъ въ стѣну. Наука, далекая отъ практическихъ задачъ жизни, можетъ подвигаться впередъ своимъ медленнымъ, торжественнымъ шагомъ, нисколько не смущая себя мыслью, что требованія ея осуществятся быть можетъ черезъ 1,200,000 лѣтъ; но не пока-

жется-ли смѣшнымъ тотъ публицистъ, который пишетъ въ глубокомъ убѣжденіи, что все сказанное имъ неосуществимо, а если осуществимо, то никакъ не на землѣ, а гдѣ-нибудь на Марсѣ или Венерѣ? Въ такомъ случаѣ пусть онъ лучше интегрируетъ уравненія и приноситъ посильную пользу въ области чистой математики.

Публицисту такъ-же необходима вѣра, любовь, ненависть и вообще вся субъективная сторона человѣческаго мышленія, какъ и аргументація. Онъ ведетъ человѣка къ дѣятельности, пунктъ его аттаки столько-же воля, сколько и разумъ, почему синтезъ методовъ субъективнаго и объективнаго для него необходимъ.

Мало того. Онъ постоянно затрогиваетъ общественные вопросы. Какъ въ этомъ случаѣ можетъ онъ стоять исключительно на научной почвѣ? Гдѣ такая наука—соціологія? Есть только попытки, но вѣдь исторія не ждетъ, пока явится Дарвинъ соціологіи, и можетъ за это время накуралесить такъ, что потомъ и не расхлебать заваренной ею каши. Публицисту волей-неволей приходится подчасъ удовлетворяться неполными или неточными свѣдѣніями, предвосхищать выводъ, опираясь на свою любовь или ненависть, вмѣсто того, чтобы ждать работъ статистики, историческихъ изслѣдованій и Дарвиновъ—соціологіи. Въ этомъ есть своя неудобная сторона, но есть и хорошая. Русской публицистикѣ удавалось не разъ дѣлать серьозныя научныя открытія, предугадывать, хотя способъ доказательства и методъ изслѣдованія смѣло могутъ отшатнуть отъ себя всякаго научнаго педанта. Укажу на ограниченія теоріи Маркса, сдѣланныя Н. К. Михайловскимъ, а также на соціологическія работы послѣдняго.

Мы всегда оправдаемъ публицистику, если станемъ на ту очевидную точку зрѣнія, что люди руководятся въ своей дѣятельности столько-же убѣжденіями, сколько мнѣніями. Мнѣніе—субъективно, источникъ его не въ научномъ анализѣ, не въ работѣ научной мысли, а въ «настроеніи» — какъ результатѣ цѣлой совокупности неясныхъ для самого обладателя этого настроенія причинъ. Наука мнѣній не имѣетъ, а имѣетъ выводы и гипотезы; публицистика не можетъ ни игнорировать мнѣнія, ни обойтись безъ нихъ. Конечно, чѣмъ научнѣе ея мнѣнія, чѣмъ ближе они къ дѣйствительному положенію вещей и ихъ законамъ,—тѣмъ пріятнѣе, но все-же никогда не должны мы забывать великаго значенія субъективизма.

Упрекать Писарева за недостаточную научную подготовку во

время работы въ «Разсвѣтѣ» слѣдовало, но лишь при одномъ условіи, т. е. отдавая въ то-же время полную справедливость его несомнѣнному публицистическому дарованію. Послѣднее — такая рѣдкость, такое громадное пріобрѣтеніе для общества, что чѣмъ бережнѣе къ нему относиться, тѣмъ лучше. А вмѣсто этого онъ слышалъ:

— Это легкомысленно, это не обосновано. Ты того-то и того-то не прочелъ.

И онъ страдалъ отъ такого непониманія, страдалъ отъ роковой необходимости разрывать сердечныя связи со всѣмъ близкимъ, идя своей собственной дорогой.

V.

Неудачи любви.—Въ психіатрической больницѣ.—Dementia melancolica.

Нравственный кризисъ между тѣмъ приближался къ своему трагическому окончанію. Но ни самъ Писаревъ, ни кто другой этого не ожидали.

Настали каникулы 59-го года. Писаревъ ожидалъ ихъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ; никогда быть можетъ онъ такъ лихорадочно не рвался въ свой возлюбленный Грунецъ, какъ теперь. Кромѣ матери, которую онъ искренне любилъ, несмотря на происшедшій между ними въ предыдущемъ году разладъ, кромѣ семьи и всей дорогой ему родной обстановки, онъ ожидалъ увидѣть въ деревнѣ кузину. Объ этомъ свиданіи было говорено еще зимой въ письмахъ, оно было обѣщано ему матерью, которая, придя къ убѣжденію, что сына удержать нельзя и что, если онъ не будетъ видѣть Раису въ Грунцѣ, онъ устроитъ это дѣло какъ-нибудь иначе, — рѣшилась сама стать во главѣ теченія. Но—увы—Писаревъ пріѣхалъ въ Грунецъ, а кузины не было: старый родственникъ, у котораго она гостила, глубоко убѣжденный, что l'amour—c'est une maladie*), объявилъ, что по мѣрѣ силъ не дастъ другимъ возможности дѣлать глупости, и не пустилъ Раису къ Писаревымъ.

Съ житейской точки зрѣнія все это было очень умно и благо-

---

*) Любовь—это болѣзнь.

разумно. Ну, можно-ли въ самомъ дѣлѣ 19-ти-лѣтнему юношѣ-студенту и къ тому-же журналисту (а вѣдь журналисты и теперь еще въ глазахъ благоразумныхъ людей—народъ неосновательный, попросту прощалыги) думать о семьѣ и пр.?

Первый вопросъ Писарева по пріѣздѣ въ деревню былъ: — «А гдѣ-же Раиса?»—«Гоститъ у дяди, отвѣчали ему, и онъ ея не пустилъ».

Это «не пустилъ» раздражило Писарева до бѣшенства. Итакъ—спрашивалъ онъ себя — противъ меня цѣлый заговоръ... Старыя брюзги и ворчуны вмѣшиваются въ мою судьбу и устраиваютъ ее по собственному усмотрѣнію. Посмотримъ...

Какъ у всякой даровитой, глубоко-самоувѣренной натуры, къ тому-же натуры съ такой рѣзко выраженной индивидуальностью—препятствія только вызвали со стороны Писарева страстное желаніе борьбы и побѣды... Но онъ не зналъ еще, *какъ* бороться, и страдалъ невыносимо. «Мнѣ—разсказываетъ В. И. Писарева—часто случалось заставать брата невзначай въ саду или тѣнистой бесѣдкѣ лежащимъ на травѣ или коврѣ съ раскрытой книгой въ рукахъ, между тѣмъ какъ глаза его были устремлены вдаль съ выраженіемъ упорной и тревожной мысли. Онъ не любилъ, чтобы его заставали въ такія минуты тяжелаго раздумья, въ немъ при этомъ просыпалась какая-то гордая, суровая стыдливость, и онъ старался завести рѣчь о какомъ-нибудь совершенно безразличномъ предметѣ, меньше всего интересовавшемъ его въ данную минуту.»

Было дѣйствительно, надъ чѣмъ призадуматься. *Я* хочу быть счастливымъ, *я* могу быть счастливымъ. Какое-же дѣло *другимъ* до меня? Развѣ я мѣшаю имъ? Да наконецъ если это и такъ, какое право имѣютъ они мѣшать мнѣ?..

Эти вопросы не могли не вызвать злобы и раздраженія, такъ какъ отъ пассивной покорности Писаревъ давно уже отказался.

Но слѣдовалъ и еще цѣлый рядъ вопросовъ. Кто эти другіе? Во имя чего они впутываются не въ свое дѣло?

Эти другіе—семья, эти другіе—старый брюзга дядя, любящая мать, искренности которой Писаревъ въ данномъ случаѣ не совсѣмъ довѣрялъ, полагая, что и она не безвинна въ отсутствіи Раисы, отецъ, — словомъ тѣ люди, которые воспитали его по извѣстному образцу, въ извѣстныхъ понятіяхъ и желали сдѣлать изъ него человѣка такого-то образца,

Раздражаться противъ личностей было возможно, но Писаревъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы винить ихъ. Вся злоба по необходимости должна была обрушиться на понятія, которыя и «самихъ-то людей не дѣлаютъ счастливыми, и другимъ мѣшаютъ устраивать свою судьбу».

Дѣло доходило до окончательной ломки всего воспринятаго, заученнаго, внушеннаго.

«Лѣто 59-го года—разсказываетъ Писаревъ—было для меня временемъ умственнаго кризиса. Всѣ понятія, лежавшія въ моемъ умѣ съ самаго дѣтства, всѣ готовыя сужденія, казавшіяся мнѣ неприкосновенною основою всего существующаго въ моей собственной личности, всѣ гипотезы, имѣющія такое тиранническое вліяніе на мысли и поступки большей части людей,—все это заколыхалось и какъ-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мнѣ свою несостоятельность. Пока я безъ опредѣленной цѣли читалъ памятники и изслѣдованія, до тѣхъ поръ всѣ эти несообразности оставались нетронутыми и считались такими истинами, которыя ясны, какъ день, незыблемы, какъ гранитная стѣна, и величественнѣе Монблана или Казбека. Но когда пришлось читать и обдумывать все прочитанное съ практическою цѣлью, тогда мысль получила такой толчекъ, котораго дѣйствія и послѣдствія я не могъ ни предвидѣть, ни разсчитать. Пробудившееся стремленіе анализировать и всматриваться не можетъ быть по нашей волѣ опять погружено въ сонъ. Каждый человѣкъ, дѣйствительно мысливший когда-нибудь въ своей жизни, знаетъ очень хорошо, что не онъ распоряжается своею мыслью, а что напротивъ того сама мысль предписываетъ ему свои законы и совершаетъ свои отправленія такъ-же независимо отъ воли, какъ независимо отъ этой воли совершается біеніе сердца и пищеварительная дѣятельность желудка. Человѣкъ боится подойти къ тѣмъ гипотезамъ, которыя величественнѣе Казбека и Монблана, а мысль не боится и подходитъ, и ощупываетъ эти гипотезы, и вдругъ докладываетъ, что это пустяки. Человѣкъ приходитъ въ ужасъ, но ужасъ оказывается безсильнымъ въ борьбѣ съ мыслью; мысль осмѣиваетъ и прогоняетъ ужасъ, и человѣку остается только качать головой, стоя на развалинахъ своего міросозерцанія. Наконецъ и качаніе головой прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, въ которой мысль пользуется неограниченнымъ могуществомъ и не встрѣчаетъ себѣ нигдѣ ни отпора, ни сопротивленія. Въ этомъ царствѣ мысли живется тепло и весело, но періодъ перехода тяжелъ и мучителенъ. Умственный ростъ сопровождается болѣзнями, какъ и ростъ физическій. У меня напряженіе ума во время переходной борьбы было такъ болѣзненно сильно, что оно повело за собой потрясеніе всего организма».

Писаревъ ничего не говоритъ о своей сердечной драмѣ. Но читатель не долженъ забывать о ней...

Чтобы не поддаться одному чувству, къ тому-же чувству грусти

Писаревъ боролся, сколько хватало силъ, и искалъ утѣшенія въ работѣ. Въ «Разсвѣтъ» ежемѣсячно посылалось условленное число листовъ, время отдыха было занято чтеніемъ вслухъ въ семьѣ, а для чтенія, чтобы и тутъ время не пропадало непроизводительно для журналистики, выбиралось то, что могло служить матеріаломъ для критическихъ статей. Привезенные съ собой, въ чаяніи пробужденія научнаго духа, почтенные томы шлецеровскаго «Нестора» мирно покоились въ углу. Трескинъ правда укоризненно вздыхалъ и покашивался на заброшенные томы лѣтописца, но къ счастью проповѣдническій жаръ его нѣсколько охладѣлъ, потому что онъ самъ былъ занятъ денежной работой для того-же кремпинскаго «Разсвѣта». Онъ переводилъ разсказы изъ временъ Меровинговъ и буквально страдалъ муками раздумья надъ каждой строчкой, перечеркивалъ, переписывалъ, улавливалъ «духъ подлинника» съ такой основательностью, какъ будто «ловилъ блохъ», словомъ трудился надъ переводомъ вѣроятно больше, чѣмъ самъ Тьерри надъ подлинникомъ. Призываемый ежеминутно на совѣтъ Писаревъ только пожималъ плечами и приводилъ пословицу: «assez de zèle, pas trop en faut» *).

Какъ ни увлекала работа Писарева, забыть своей грусти онъ не могъ. Онъ тосковалъ, раздражался безъ причины, искалъ одиночества.

Мать наконецъ не выдержала и сама отправилась за Раисой.

Ожидая ея возвращенія, Писаревъ провелъ нѣсколько дней въ мучительно тревожномъ настроеніи духа. «Пріѣдетъ или не пріѣдетъ?» Онъ не могъ найти себѣ мѣста. Работа не клеилась, онъ начиналъ статью за статьей, рвалъ исписанные листы, бросался отъ одного дѣла къ другому...

Мать вернулась, но Раисы не было. Вмѣсто себя она прислала письмо. Прочтя его, Писаревъ упалъ на диванъ, закрылъ лицо руками и судорожно зарыдалъ, какъ маленькій ребенокъ.

Въ письмѣ Раиса говорила про неизмѣнность своей братской дружбы, про глубокое желаніе ему счастья и блага, но вмѣстѣ съ тѣмъ отказывалась наотрѣзъ быть его женой, «такъ какъ она любила другого»...

— Ну, что-же,—заговорилъ наконецъ Писаревъ послѣ долгаго молчанія, во время котораго онъ какъ будто разсматривалъ свою

*) Довольно прилежанія, немного и надо его.

рану...—Съ любовью, стало быть, дѣло покончено, но вѣдь не одна она въ жизни, жить ею одной и предаваться отчаянію, когда она погибла, недостойно мыслящаго человѣка и мужчины. Остается умственная дѣятельность, наука, трудъ—вотъ чему надо отдаться, вотъ средство вылечиться отъ горя... Придетъ современемъ новая любовь — хорошо, а нѣтъ — и безъ нея проживу одними умственными наслажденіями...

Но пока это были слова, слова.

Изъ близкихъ къ Писареву людей одинъ только Трескинъ почти радовался въ глубинѣ души тому, что сама судьба насильственно обрывала романъ друга. Проповѣдническій жаръ вспыхнулъ съ новой силой, и Трескинъ сталъ усердно приглашать Писарева окунуться съ головой въ обновляющія волны знанія и врачевать раны больной души вѣчно живыми источниками науки. Писаревъ замѣчательно умно отвѣчалъ ему:

— Я, милый, съ тобой не миндальничаю, не разыгрываю романа восторженной дружбы, а между тѣмъ я люблю тебя сильнѣе, чѣмъ ты меня, потому что ты мнѣ дорогъ самъ по себѣ, какой ты есть, ни больше, ни меньше. А изъ меня ты хочешь сдѣлать что-то такое и любишь во мнѣ произведеніе собственнаго творчества. И я убѣжденъ, что ты, какъ раздраженный художникъ, разобьешь непокорный кусокъ мрамора въ тотъ день, какъ убѣдишься, что я пойду не по твоей, а по своей дорогѣ.

Такъ тянулось лѣто. Кромѣ тихой грусти, ставшей въ послѣднее время преобладающимъ душевнымъ состояніемъ Писарева, въ немъ, какъ результатъ всего пережитаго и передуманнаго, стало сказываться какое-то умственное и нравственное утомленіе, какое-то «не по-себѣ», которое онъ старался всѣми силами преодолѣть и шутя приписывалъ слишкомъ долгому пребыванію на лонѣ природы. Онъ увѣрялъ самого себя, что облѣнился на лѣтней квартирѣ, какъ Аннибалъ на зимней, что стоитъ только встряхнуться и взять себя въ руки, какъ все пойдетъ по старому. Онъ задумывалъ написать зимой кандидатскую диссертацію, но тяжелое душевное настроеніе тревожило его самого. Прежняя рабочая энергія была будто парализована, писанье шло вяло, въ статьяхъ, которыя писались всегда прямо на бѣло и блистали аккуратной чистотой, все чаще и чаще стали появляться «трагическія» помарки.

Онъ вышелъ изъ колеи.

Однако судьбѣ, руководившей романомъ его жизни, вздумалось еще разъ — и даже не послѣдній — дать ему надежду. Возвращаясь изъ Грунца въ Петербургъ, онъ заѣхалъ къ своему «счастливому сопернику»—тому самому Гарднеру, котораго любила Раиса. Къ своему удивленію, вмѣсто «счастливаго соперника» онъ встрѣтилъ больное, разбитое жизнью существо, за которымъ ему самому въ короткое время свиданія пришлось ухаживать, какъ за хилымъ и хворымъ ребенкомъ...

Въ первомъ-же письмѣ къ матери Писаревъ сообщилъ ей о томъ, что выяснило ему свиданіе съ Гарднеромъ, и просилъ передать все это кузинѣ съ возможно большими предосторожностями, просилъ приласкать ее въ минуту тяжелаго горя и помочь ей перенести грустное испытаніе. Онъ прибавлялъ, что его рѣшеніе относительно кузины и собственной судьбы остается неизмѣннымъ, но что повторять ей теперь свое предложеніе онъ счелъ бы неуваженіемъ къ ея несчастной, сломленной въ самомъ стебелькѣ любви.

Итакъ, не все еще было потеряно, и Писаревъ съ обновленными силами вернулся въ Петербургъ. Здѣсь Кремпинъ встрѣтилъ его съ изысканной любезностью, товарищи—ласково, и Писаревъ ожилъ. Это сразу-же отразилось на его письмахъ. Разсказавши матери о томъ, что ему удалось даже подружиться съ возлюбленнымъ кузины, онъ прибавляетъ: «Я говорю теперь чистосердечно, что желаю пока одного: чтобы Раиса не умерла и чтобы сгоряча не дала себѣ обѣта дѣвственности. А тамъ — будетъ-ли она моею женою, или женою другого — лишь-бы была счастлива. Себѣ-то я всегда найду утѣшеніе въ области мысли. Теперь я могу себѣ представить только одно несчастье, которое сломило-бы меня: сумасшествіе съ свѣтлыми проблесками сознанія. Все остальное: потеря близкихъ людей, потеря состоянія, глазъ, рукъ, измѣна любимой женщины, — все это дѣло поправимое, отъ всего этого можно и должно утѣшиться».

И въ этихъ строкахъ повторяется тотъ-же самый мотивъ, то-же самое желаніе отдать всю свою жизнь умственному труду. Наслажденіе мысли — вотъ къ чему должны свестись всѣ радости бытія. Но пока, повторяю, Писаревъ только мечталъ объ этомъ, и самое оживленіе духа было только вспышкой передъ полнымъ мракомъ, куда онъ скоро погрузился.

«Осенью 59-го года,—разсказываетъ онъ,—я пріѣхалъ съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. Опрокинувъ въ умѣ

своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь: я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли. Мнѣ случилось какъ-то въ обществѣ товарищей говорить о міросозерцаніи древнихъ грековъ, и я сказалъ, что греческая судьба, по всей вѣроятности, не что иное, какъ незвѣстные законы природы. Эта мысль моя, находившаяся въ самой интимной связи съ общимъ ходомъ моихъ платоническихъ идей, чрезвычайно понравилась мнѣ и даже поразила меня какимъ-то благоговѣніемъ. Я вдругъ рѣшился провѣрить и доказать эту мысль и даже превратить ея развитіе въ кандидатскую диссертацію. Я принялся за Гомера съ тѣмъ неистовымъ рвеніемъ, которое всегда руководило моими любимыми занятіями. Мѣсяца два я работалъ неутомимо, прочелъ восемь пѣсенъ Иліады въ подлинникѣ и кромѣ того сдѣлалъ множество выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о томъ-же предметѣ. Товарищи мои смотрѣли на мои труды съ недоумѣніемъ и иногда дѣлали мнѣ выговоры за то, что я оставилъ славяно-русскія древности и такъ внезапно, очертя голову, бросился въ совершенно неизвѣстную мнѣ область науки. Но я объявилъ себя Прометеемъ и уже не обращалъ вниманія ни на какіе дружескіе совѣты. Вдругъ за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія и апатіи...»

И правда — слишкомъ даже достаточно вынесъ Писаревъ для одного человѣка. Борьба съ предразсудками, радужными иллюзіями и ребяческимъ міросозерцаніемъ была кончена, побѣжденные враги утратили свой грозный характеръ, они будто просили пощады, и побѣдитель остановился въ тяжеломъ раздумьѣ среди развалинъ своего прежняго счастья. Началась мучительная повѣрка итоговъ, возникъ грозный вопросъ, гдѣ-же то нравственное достояніе, которымъ предстоитъ жить. Разрушенное старое оставляло по себѣ пустоту, отъ которой становилось тоскливо и холодно на душѣ.

У Писарева былъ выработанъ краеугольный камень міросозерцанія. Это его «я», свободная человѣческая личность, стремящаяся къ развитію и находящая въ немъ наслажденіе. Но въ данную минуту это сильное, гордое писаревское «я» чувствовало себя утомленнымъ, разбитымъ. Характеризуя свое душевное состояніе, Писаревъ приводилъ стихи Майкова:

Кругомъ—угрюмый видъ природы.
И звѣздъ иныхъ огнемъ
Небесъ таинственные своды
Осыпаны кругомъ.

Къ нимъ такъ и манитъ взоръ мой хладный,
Но ихъ спокойный видъ,
Ихъ блескъ унылый безотрадно
Мнѣ сердце леденитъ.

За все, чѣмъ прежде сердце жило,
Чѣмъ билось, — я дрожу
И въ даль туманную уныло,
Оставя руль, гляжу...

И не садится ангелъ бѣлый
Къ рулю въ мой утлый челнъ,
Какъ въ оны дни, когда такъ смѣло
Онъ велъ его средь волнъ..."

Въ Писаревѣ появились уже первые ясные признаки умственнаго разстройства. Всѣмъ и каждому говорилъ онъ, что онъ призванъ совершить великій переворотъ въ области искусствъ и науки. Его диссертація о судьбѣ оказалась мыльнымъ пузыремъ, онъ немедленно принялся за романъ все съ той-же мыслью открыть новые пути... Товарищи, не понимая, что съ нимъ дѣлается, и видя передъ собой какое-то гипертрофированное самомнѣніе, отшатнулись отъ него. Среди этихъ грустныхъ обстоятельствъ онъ, какъ больной, испуганный одиночествомъ ребенокъ, бросился въ объятія матери. Онъ писалъ ей грустныя письма, откровенно разсказывалъ все, что происходило въ немъ и вокругъ него, просилъ прощенія за свое недовѣріе, такъ измучившее ее лѣтомъ, просилъ забыть все прошлое и не отталкивать его.

Вотъ два отрывка изъ писемъ этого времени.

«Ради Бога, мама, прочти это письмо... Если тебѣ сколько-нибудь дорого знать состояніе моей души, выслушай меня спокойно и вѣрь искренности моихъ словъ, хотя-бы они показались тебѣ странными. Уже въ Грунцѣ, послѣ извѣстія, полученнаго отъ Раисы, я рѣшилъ сосредоточить въ себѣ самомъ всѣ источники моего счастья, *съ этого времени я началъ строить себѣ цѣлую теорію эгоизма*, любовался на эту теорію и считалъ ее неразрушимою. Эта теорія доставила мнѣ такое самодовольствіе, самонадѣянность и смѣлость, которыя при первой-же встрѣчѣ очень непріятно поразили всѣхъ моихъ товарищей. Развитіе моей теоріи поразило ихъ еще болѣе, но я тогда не обратилъ на это никакого вниманія. Въ порывѣ самонадѣянности я взялся за вопросъ, взятый изъ науки мнѣ совершенно чуждой, и потратилъ на чтеніе по этому предмету 2 мѣсяца. Подъ вліяніемъ той-же самонадѣянности я думалъ, что съ меня въ жизни довольно одного себя: будутъ привязанности, друзья, любовь, думалъ я, — хорошо, не будутъ — и безъ нихъ обойдусь и буду жить одно-

мыслью, въ вѣчность которой я твердо вѣрилъ, хотя и говорилъ, что оставляю это подъ сомнѣніемъ. Слѣдуя такой уродливой теоріи, я довольно равнодушно смотрѣлъ на тѣ привязанности, которыя уже успѣлъ пріобрѣсти въ жизни; я говорилъ и думалъ, что ежели-бы умерли даже самые дорогіе мнѣ люди, я и тогда-бы не страдалъ и старался-бы тотчасъ-же утѣшиться и забыть. При такомъ настроеніи было писано письмо, которое сообщилъ тебѣ Ан. Д., но съ тѣхъ поръ, какъ оно написано, во мнѣ много измѣнилось. Я сталъ сомнѣваться и наконецъ совсѣмъ отвергнулъ вѣчность собственной личности, и потому жизнь, какъ я себѣ ее вообразилъ, показалась мнѣ сухою, безцвѣтною, холодною. Мнѣ нужны теперь привязанности, нужны случаи, въ которыхъ могли-бы развернуться чувства и преданность, нужно теплое, разумное самопожертвованіе, надъ которымъ я такъ жестоко смѣялся нѣсколько дней тому назадъ... Я нахожусь теперь въ какомъ-то мучительномъ, тревожномъ состояніи, котораго причинъ не умѣю объяснить вполнѣ и котораго исхода еще не знаю.» Письмо заканчивается стономъ: «мама, прости меня, мама, люби меня!»

Вотъ другой отрывокъ:

«Ради Бога, мама, прости меня, напиши ко мнѣ. Ты не можешь себѣ представить, до какой степени тяжело чувствовать себя одинокимъ, отчужденнымъ отъ тѣхъ людей, которыхъ любишь очень сильно и передъ которыми глубоко виноватъ. Ты-бы пожалѣла обо мнѣ, другъ мой мама, если-бы знала, какъ я жестоко наказанъ за свою самонадѣянность, за свой грубый эгоизмъ. Я себѣ самъ противенъ, потому что вижу, что когда мнѣ везетъ, я поднимаю голову, когда является несчастіе, я падаю духомъ и прошу утѣшенія у всѣхъ, кто меня окружаетъ. Такъ случилось теперь. Пока ты была нѣжна со мною, я не понималъ и не цѣнилъ тебя, увлекаясь разными личными видами и планами, которымъ вѣроятно никогда не сбыться... Теперь, когда ты рѣшительно отказалась отъ меня, отталкиваешь меня, мнѣ дѣлается такъ страшно и больно. Я начиналъ къ тебѣ четыре письма и ни одного не рѣшился отправить: въ каждомъ изъ нихъ слишкомъ мрачно выставлялись мои опасенія за себя и мой взглядъ на будущее...»

«*Теперь, когда ты рѣшительно отказалась отъ меня, когда ты отталкиваешь меня*». Мать никогда отъ Писарева не отказывалась, никогда его не отталкивала. Но въ эту тяжелую пору въ немъ возникло болѣзненное недовѣріе, мучительная подозрительность, совершенно несвойственныя его характеру. *Нѣкотораго* охлажденія къ себѣ товарищей Писаревъ дѣйствительно не могъ не замѣтить, но онъ преувеличивалъ его. Онъ былъ убѣжденъ, что всѣ окружающіе обвиняютъ его въ какомъ-то гнусномъ преступленіи, что его щадятъ и потому не высказываютъ, въ чемъ именно дѣло, и только съ презрѣніемъ отворачиваются отъ него, не давая ему

даже возможности оправдаться. Онъ ловилъ съ изумительной, болѣзненной зоркостью и наблюдательностью каждую мелочь, не имѣвшую въ сущности никакого значенія, принималъ ее къ свѣдѣнію и истолковывалъ съ своей точки зрѣнія, какъ новое подтвержденіе своей господствующей мысли всеобщемъ къ нему презрѣніи и всеобщей къ нему враждѣ»...

Ходятъ наприм. друзья (Писаревъ и Трескинъ) въ сумеркахъ взадъ и впередъ по тѣсной, низкой чердачной комнатѣ, служившей имъ и рабочимъ кабинетомъ, и спальней, и пріемной — Трескинъ, чтобы не сталкиваться лбами въ потемкахъ, разумѣется свертываетъ въ сторону... Писаревъ садится на диванъ и томительно задумывается: «да, теперь ужъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ чувствуетъ ко мнѣ непобѣдимое отвращеніе и не хочетъ даже встрѣчаться со мной на одной половинцѣ»...

Вскорѣ Писарева посадили въ карету и отвезли въ психіатрическую больницу, гдѣ онъ и пробылъ 4 мѣсяца.

Если я такъ подробно остановился на кризисѣ, который пришлось пережить Писареву, то для этого у меня были свои основательныя причины.

Мнѣ хотѣлось прежде всего показать, что каждое свое убѣжденіе Писаревъ бралъ съ боя, грудью, искупая его цѣною невыносимыхъ душевныхъ страданій, которыя довели его даже до помѣшательства. Слѣдовательно, приличіе—хотя-бы только приличіе—требуетъ, чтобы съ прозваніями «верхоглядъ», «холодный эгоистъ» и пр., которыми награждали Писарева его противники, было покончено. Это, вопервыхъ. А во-вторыхъ, если еще и теперь самый талантъ Писарева, его литературное краснорѣчіе, его вдохновеные пріемы борьбы, его на смерть бьющіе быстрые полемическіе удары поражаютъ своею свѣжестью и правдивостью — то разгадку этого ищите въ глубинѣ перенесенныхъ нашимъ критикомъ страданій.

. . . . . .

Указывать недостатки—можно и должно, но какъ назвать тѣ выходки, противъ Писарева которыя то-и-дѣло попадаются на страницахъ такихъ изданій, какъ «Гражданинъ» или «Сѣверный Вѣст-

никъ»?. Критикъ этого послѣдняго г. Волынскій увѣрялъ, наприм., своихъ читателей, что все написанное послѣ Бѣлинскаго, за самыми ничтожными исключеніями, представляетъ «какой-то странный бредъ публицистическихъ недоразумѣній какую-то скверную *растлѣвающую* путаницу понятій и словъ», — что Добролюбовъ и Писаревъ были люди съ «*ограниченнымъ* публицистическимъ дарованіемъ», — что они «напрягали свои *дѣтскія* силенки» и, въ концѣ концовъ. что они были «буржуазными критиками»! Насчетъ растлѣнія литературнаго скажемъ ниже, пока-же замѣтимъ, что говорить такія пошлости подъ-стать лишь людямъ поистинѣ невѣжественнымъ и создающимъ свою литературную карьеру нелитературными путями. Не знаю, принадлежитъ-ли къ нимъ г. Волынскій, но вотъ фактъ, надъ которымъ не мѣшаетъ призадуматься. Приведенныя выдержки написаны г. Волынскимъ въ 1893 г., а въ 1891-мъ тотъ-же г. Волынскій писалъ о Писаревѣ: «Писаревъ былъ послѣднимъ изъ нашихъ выдающихся критиковъ, ибо не подлежитъ сомнѣнію, что онъ обладалъ огромнымъ критическимъ даромъ. Блестящая полемическая импровизація, быстрая и живая діалектика, умѣнье докапываться до глубочайшихъ основъ всякаго литературнаго явленія—все это дѣлаетъ произведенія Писарева чрезвычайно литературными и поучительными... Такимъ языкомъ, съ такою силою, съ такими патетическими оборотами мысли пишутъ только люди перваго литературнаго ранга».

Чѣмъ объяснить такой переворотъ во взглядахъ г. Волынскаго не знаю, но одна газета предательски утверждаетъ, что въ 91 г. у «Сѣвернаго Вѣстника» была одна редакція, а въ 93-емъ—другая. При прежней редакціи г. Волынскій находилъ, что Писаревъ человѣкъ перваго ранга, при новой,—что у того-же Писарева «ограниченное публицистическое дарованіе».

Г. Волынскій типичный образецъ людей, нападающихъ на Писарева. Его можно было-бы оставить въ покоѣ, въ чаяніи, что у «Сѣвернаго Вѣстника» когда-нибудь окажется еще новая редакція, но мнѣніе, что Писаревъ содѣйствовалъ растлѣнію литературы настолько нелѣпо, что мы остановимся на немъ внимательнѣе. Писаревъ не могъ растлить литературы по той простой причинѣ, что это былъ правдивый человѣкъ. Все сказанное имъ—сказано изъ глубины

души, а это чего-нибудь да стоитъ. Можете не соглашаться съ нимъ, можете опровергать его — но не забывайте только, что въ лицѣ Писарева говоритъ съ вами сама дѣйствительность, сама искренность.

Въ этомъ дивная красота его сочиненій.

Если онъ ошибался, то лишь какъ человѣкъ, ищущій истины. Такая ошибка заслуживаетъ полнаго уваженія. Но есть-ли въ его десяти томахъ хотя одна фраза, которая не была-бы выстрадана и куплена цѣною душевныхъ мукъ,—есть-ли тамъ фраза, вызванная посторонними соображеніями, словомъ — проданная фраза? Надъ этимъ стоитъ подумать.

Искренность и правда—вотъ основа и украшеніе всякаго таланта. Гдѣ иначе можетъ онъ найти свою непреодолимую силу, свое очарованіе, свою красоту, какъ не въ этой искренности? Въ ней есть обаяніе, и чувствовать ее можетъ всякій, кто не испорченъ въ самомъ корнѣ своемъ.

Въ дѣтствѣ Писарева звали «хрустальной коробочкой». Онъ не умѣлъ скрывать ничего, что было у него на душѣ, не умѣлъ утаивать ни мысли, ни чувства. Такимъ остался онъ на всю жизнь, такимъ является онъ намъ въ своихъ статьяхъ. Это правдивый, въ высшемъ смыслѣ этого слова, писатель, который даже ради благородныхъ цѣлей не согласился-бы покривить душой. Говорю, что думаю, говорю то, что выстрадано мной, что пріобрѣтено мною собственными усиліями, что пережито мною. Таковъ его девизъ. Въ его міросозерцаніи, по моему, нѣтъ ничего отвлеченнаго, нѣтъ ничего такого, что пахло-бы книгой или постороннимъ вліяніемъ. Всѣ его теоріи не больше и не меньше, какъ продуктъ тѣхъ жизненныхъ вліяній и столкновеній, которыя ему пришлось испытать. Въ нихъ какъ нельзя болѣе полно отразились его натура, характеръ, счастье и неудачи его бытія. Его статьи въ этомъ смыслѣ могутъ считаться лирическими, потому что въ нихъ все субъективно до послѣдней степени, и за каждой фразой вы легко можете различить какое-нибудь жизненное столкновеніе.

Мнѣ думается, что въ этомъ-то и заключаются главная красота и очарованіе произведеній Писарева. Что болѣе цѣнно, какъ не возможность проникнуть въ глубину души другого, тѣмъ болѣе большого человѣка,—узнать, какъ онъ страдалъ и любилъ, какъ вѣ-

рилъ и сомнѣвался, и при томъ знать, что каждое сказанное слово сказано изъ-за неотразимой потребности излить всю душу свою?

Общеніе съ искренней натурой дѣлаетъ насъ самихъ чище и нравственнѣе. Карлейль увѣрялъ, что говорить правду—это такое счастье, которое выпадаетъ на долю очень и очень немногихъ избранныхъ натуръ.

Мы на ложь обречены:
Роковымъ узломъ отъ вѣка
Въ слабомъ сердцѣ человѣка
Правда съ ложью сплетены.

Мы—это громадное большинство человѣчества,—большинство, которое къ тому-же возрастаетъ съ быстротой, способной привести въ ужасъ. Мы лжемъ на каждомъ шагу изъ вѣжливости и приличія, изъ-за страха, изъ-за выгоды, изъ-за самолюбія, лжемъ поразительно много и часто. Въ этомъ случаѣ мы настоящіе виртуозы: мы даже способны обманывать самихъ себя, и иллюзія играетъ въ нашей жизни гораздо бо́льшую роль, чѣмъ дѣйствительность. Въ этомъ-то и горе наше, что мы никакъ не можемъ быть тѣмъ, чѣмъ мы есть на самомъ дѣлѣ, и всегда стараемся казаться. Изъ сотни людей 99 не съумѣютъ разсказать своей жизни, не прикрасивши, не обѣливши самихъ себя, не очернивши другихъ. Таковъ уже роковой узелъ. Какъ это ни грустно, но необходимо имѣть «талантъ правды», а, какъ всякій талантъ, это—большая рѣдкость.

У Писарева онъ былъ въ высшей степени. Если въ его статьяхъ есть ошибки противъ логики, противъ науки, то нѣтъ зато ошибокъ противъ того жизненнаго опыта, который выпалъ на его долю, нѣтъ ошибокъ, вызванныхъ сторонними соображеніями. Онъ говоритъ вамъ, что умственныя наслажденія выше всего, и на самомъ дѣлѣ для него это было такъ, и, только благодаря этимъ умственнымъ наслажденіямъ, ему удалось *сравнительно* спокойно перенести пять лѣтъ одиночнаго заключенія. Въ его теоріи эгоизма вы видите ясное отраженіе его рѣзко выраженной индивидуальности и той борьбы, которую ему пришлось вынести, защищая свою любовь. Пылкость и страстность его натуры и вмѣстѣ съ тѣмъ ея художественная полнота создали пылкій и страстный и вмѣстѣ съ тѣмъ художественный стиль.

Словомъ, можно положиться на каждую фразу, вышедшую изъ-подъ пера Писарева. Онъ всегда говорилъ правду, его мысль при-

росла къ дѣйствительности, а его критическія статьи—исторія его души. Ниже мы увидимъ, сколько *объективной* истины заключалось въ его *субъективной* правдѣ. Пока-же довольно сказаннаго, и вотъ почему довольно.

Когда, въ какую эпоху и кого могли развратить и растлить правда и искренность? Всякій порокъ, всякій грѣхъ сводятся въ конечномъ анализѣ ко *лжи*. Таково искреннее мое убѣжденіе, не мое впрочемъ, а людей неизмѣримо большихъ меня. Недаромъ въ писаніи дьяволъ, т. е. источникъ всякаго грѣха, названъ «отцомъ лжи»: «егда глаголетъ *лжу*, отъ своихъ глаголетъ, яко ложь есть и отецъ лжи». «God is truth—проповѣдывалъ Карлейль,—but Satan is not truth...»*) Неискренность и продажность—вотъ грѣхи современной мысли, но вѣдь неискренность и продажность ничего общаго съ правдой не имѣютъ... Правдивая и искренняя мысль Писарева никогда не шла ни на какой компромиссъ, ни на какую уступку. Смотря на десять томовъ своихъ сочиненій, онъ смѣло могъ сказать, что ни разу не покривилъ душой и «que je bois de mon verre»**). У него было глубоко развито чувство самоуваженія, которое не позволило бы ему говорить съ чужого голоса, еще больше были развиты та смѣлость и гибкость мысли, которыя характеризуютъ дѣйствительно талантливую натуру. Онъ вѣрилъ въ себя, потому что инстинктъ подсказывалъ ему, что можно вѣрить, потому что мысли его исходили изъ первоисточника, т. е. изъ жизненнаго опыта.

Теперь насъ стараются увѣрить, что Писаревъ растлилъ литературу. Растлить—слово понятное. Это значитъ внести въ святая святыхъ, т. е. въ область мысли,—духъ продажности, наживы, мелочнаго тщеславія. Растлить—значитъ лгать и пріучать ко лжи.

О! гг. Волынскіе! О, «Сѣверный Вѣстникъ»!.. Жаль только то, что вѣдаете вы, что творите, и вѣдаете, на кого поднимаете вы руку, а еще болѣе жаль, что въ ничтожествѣ окружающаго находите силу свою.

Вотъ въ чемъ горе...

Полагаю, что правдивость Писарева какъ таланта, та свобода и смѣлость, даже задорная (иногда) смѣлость, съ какою онъ выска-

*) Богъ—правда, а сатана—неправда.

**) Я пью изъ моего стакана.

зывалъ свои убѣжденія, имѣла еще и немалое философское значеніе. Вѣдь талантъ, желающій сохранить свою силу до конца во всей его свѣжести и неприкосновенности, не можетъ быть *ничьимъ* рабомъ, ни успѣха, ни золота, ни даже партійныхъ разсчетовъ, какъ бы широки они ни были. Духъ покровительства—его исконный врагъ, съ которымъ онъ безъ устали борется на протяженіи всей европейской исторіи. Всякій, я думаю, помнитъ прекрасныя страницы, посвященныя Боклемъ духу покровительства во Франціи. Прослѣдивъ за всѣми отраслями умственнаго труда, Бокль неопровержимыми фактами доказываетъ, что вѣкъ Людовика XIV былъ не золотымъ вѣкомъ литературы, науки и искусства, а, напротивъ, вѣкомъ ихъ упадка: то былъ вѣкъ нищеты, нетерпимости и притѣсненій, то былъ вѣкъ рабства, позора и бездарности. Причина этого заключалась въ правительственномъ покровительствѣ, въ желаніи подчинить науку, искусство и литературу правительственнымъ цѣлямъ. Никогда писатели не были вознаграждаемы съ большей щедростью, чѣмъ при Людовикѣ XIV, и никогда они не были такъ низки духомъ, такъ раболѣпны, такъ положительно неспособны къ выполненію своего великаго призванія апостоловъ знаній и проповѣдниковъ истины. Для того, чтобы пріобрѣсти расположеніе короля, даже самые знаменитые писатели жертвовали независимостью духа. Естественнымъ слѣдствіемъ этого было измельчаніе и раболѣпіе духа, а затѣмъ униженіе страны, что́ именно и случилось съ Франціей Людовика XIV...

Драма талантовъ (въ этомъ случаѣ трудно было-бы подыскать другое слово), разыгравшаяся въ царствованіе короля-солнца, почти никогда не снимается съ репертуара всеобщей исторіи. Не повторяется-ли она ежеминутно и въ наши дни? Одни таланты впадаютъ въ лицемѣріе и нетерпимость, связанные интересами партіи, къ которой они принадлежатъ. Но это зло искупается еще, хотя-бы отчасти, той пользой, которую можетъ принести талантъ, разъ партія, къ которой онъ принадлежитъ, преслѣдуетъ гуманныя цѣли. Гораздо большее, ничѣмъ невознаградимое несчастіе заключается въ томъ, что талантъ, работающій теперь въ области искусства, науки, литературы является какъ-бы подкупленнымъ съ первыхъ-же шаговъ своей литературной или художественной дѣятельности, Деньги, захвативъ всѣ блага міра, завладѣли и областью искусства. На кого работаетъ журналистъ, художникъ, скульпторъ,

музыкантъ, для кого пишутся кантаты и симфоніи, для кого рисуются картины и высѣкаются статуи изъ мрамора?—Въ громадномъ большинствѣ случаевъ только для тѣхъ, кто можетъ платить. Одна литература, благодаря дешевизнѣ типографскаго дѣла, старается приподнять кое гдѣ лежащее въ грязи и униженіи знамя гуманности и свободы духа. Почти все остальное принуждено холопствовать и приспособляться, и развѣ это приспособленіе не драма,—все равно какъ бы не происходило оно, со скрежетомъ-ли зубовнымъ, или веселіемъ изничтожившагося въ житейской борьбѣ сердца?

Истинное назначеніе таланта заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобы приспособляться, и какъ разъ наоборотъ въ томъ, чтобы приспособлять. Талантъ—сила, организующая по преимуществу. Онъ одинъ выступаетъ на сцену съ своей ясно сознанной, идущей отъ глубины души и жизненнаго опыта, идеей. Грандіозная смѣлость и вѣра въ самого себя нужны для этого. Невыносимо трудно возвыситься надъ массой, и не только трудно, а просто страшно. Всякое можетъ случиться. Поймутъ-ли тебя или нѣтъ? Оцѣнятъ-ли тебя и захотятъ-ли оцѣнить? Правъ-ли ты самъ? Кричать съ толпой, опираться на Мецената выгоднѣе и безопаснѣе. Различныя бѣды въ видѣ ненависти враговъ и отступничества друзей, проклятія близкихъ грозятъ смѣлому человѣку за его новшества. Для борьбы со всѣмъ этимъ нуженъ запасъ большихъ силъ. Къ счастью для таланта, смѣлость и искренность оказываютъ притягивающее, чарующее впечатлѣніе на людей. На его сторону становятся—поздно ли, рано—всѣ тѣ, что смутно сознавали высказанное имъ, кто въ его словахъ, его картинѣ, его звукахъ нашелъ воплощеніе своихъ затаенныхъ стремленій. Но «все-же въ потѣ лица своего будете родить новую мысль и высказывать новое слово, въ потѣ лица и страданіяхъ сердца».

Мы видѣли, что Писареву пришлось пожертвовать семейнымъ спокойствіемъ и привязанностью товарищей, чтобы заработать право идти своей дорогой. Принципъ вынесенной имъ житейской борьбы онъ перенесъ и въ литературу: ничто и никогда не могло заставить его поступиться своею мыслью, разъ онъ считалъ ее истинной. Ей онъ готовъ былъ принести въ жертву и свои личныя привязанности, и даже интересы той партіи, которой въ душѣ онъ не могъ не сочувствовать. Истина выше всего и дороже всего, *какой бы она ни была*. Пусть даже она жестока, обидна—но она должна быть вы-

сказана, а тамъ—что будетъ. Своими лучшими статьями онъ не столько училъ публику, сколько пріучалъ ее думать и анализировать. Онъ являлся всегда передъ нею во всей цѣльности и непосредственности своей натуры, не скрывая ни одного изгиба своей мысли, ни одного оттѣнка своего настроенія. Онъ мечталъ не о томъ, чтобы имѣть около себя толпу преданныхъ, готовыхъ идти куда прикажете рабовъ, а людей, сознательно стремящихся къ той цѣли, которая имъ въ жизни дороже всего.

Мнѣ кажется, что это единственное условіе, при которомъ могутъ существовать *истинная* литература и *истинное* искусство. Ихъ «растлѣніе» начинается лишь съ того момента, когда ложь въ томъ или другомъ видѣ, вызванная какими бы то ни было посторонними соображеніями, вторгается въ ихъ область. Талантъ свободенъ, когда онъ безусловно откровененъ, полнота его свободы—полнота искренности. Разъ онъ служитъ чему-бы то ни было (хорошему или дурному—безразлично) и во имя этого служенія налагаетъ на себя какія-бы то ни было стѣсненія и обязательства, онъ теряетъ лучшее, что въ немъ есть. Наибольшее, что онъ можетъ сдѣлать—это выразить самого себя и свою сущность, *каковы бы ни были они*.

«*Лишь безусловная свобода порождаетъ истину*». Таковъ философскій принципъ дѣятельности Писарева.

VI.

Выздоровленіе. — Восторги любви. — Начало сотрудничества въ «Русскомъ Словѣ». — Г. Е. Благосвѣтловъ. — О вліяніи Благосвѣтлова на Писарева. — «Уличные типы». — «Идеализмъ Платона». — Кандидатъ университета. — Воинствующій эгоизмъ.

Фантасмагорія длилась четыре мѣсяца. Писаревъ, какъ больной, страдавшій dementia melancolica, пользовался довольно значительной свободой въ стѣнахъ лечебницы, за нимъ мало слѣдили, хотя послѣ двухъ попытокъ самоубійства изолировали его, т. е. подвергли чему-то вродѣ одиночнаго заключенія, что довело его до скрытаго озлобленія и отчаянія и еще болѣе утвердило въ рѣшеніи

бѣжать во что-бы то ни стало *). Воспользовавшись благопріятнымъ случаемъ, онъ дѣйствительно убѣжалъ изъ больницы, выпрыгнувъ черезъ окно.

Онъ вернулся въ семью Трескина, гдѣ жилъ послѣ разрыва съ дядей, и тутъ немедленно же было рѣшено отвезти его въ Грунецъ на лоно природы. Самъ старикъ Трескинъ, горячо любившій Писарева, сопровождалъ его въ деревню.

Вотъ, кстати замѣтимъ, еще новое доказательство безусловной искренности натуры Писарева и того очарованія, которое онъ производилъ на окружающихъ своей правдивой смѣлостью. Старикъ Трескинъ принадлежалъ къ числу послѣднихъ могиканъ отживавшаго поколѣнія. Онъ былъ изъ тѣхъ цѣльныхъ, желѣзныхъ характеровъ, которые почти вывелись въ нашемъ дрябломъ поколѣніи, страдающемъ и блѣдностью мысли, и вялостью воли. Онъ обладалъ серьознымъ, самостоятельно пріобрѣтеннымъ научнымъ образованіемъ, страстной любознательностью, неисчезнувшей даже въ глубокой старости, любовью къ чтенію и колоссальной памятью. Одной изъ преобладающихъ чертъ его натуры была суровая, щепетильная честность, благодаря которой онъ не разъ наживалъ себѣ враговъ и возстановлялъ противъ себя сильныхъ міра сего. Закончивши свою служебную карьеру и засѣвши въ своей квартирѣ, какъ медвѣдь въ берлогѣ, старикъ могъ съ гордостью сказать себѣ и дѣтямъ, что ни разу не покривилъ душою и не склонялъ своей гордой головы передъ неправдой. Все въ немъ было сильно и крупно, все порывисто и неожиданно; самодуръ и деспотъ въ семьѣ, гнувшій на колѣна все ему подвластное, заставлявшій трепетать каждаго, кто подходилъ къ нему—словомъ честный «николаевецъ»—онъ однако былъ способенъ и на нѣжность, и на великодушіе. Писаревъ какъ-то приглянулся ему. Старикъ увидѣлъ въ немъ ту-же цѣльность и прямоту натуры, ту-же готовность рѣзать правду, не обращая вниманія на стороннія соображенія. Среди безгласной, вѣчно испуганной семьи Писаревъ одинъ смѣло возвышалъ голосъ, не

*) Писаревъ страдалъ dementia melancolica. Сущность его болѣзни сводилась къ мрачному состоянію души, вызвавшему двѣ попытки самоубійства, къ абсолютной подозрительности и потерѣ сознанія времени. Четыре мѣсяца казались ему однимъ безконечно долгимъ днемъ. Но все окружавшее его онъ понималъ какъ нельзя лучше.

уступалъ старику ни шагу, грызся съ нимъ зубъ за зубъ и спорилъ совершенно какъ съ равнымъ. Первое время старикъ съ непривычки свирѣпо сдвигалъ брови и сверкалъ глазами, выслушивая возраженія, но молодая искренность Писарева одолѣла, и «лютый звѣрь укротился»...

Возвращаюсь къ разсказу. Воскресшаго изъ мертвыхъ Писарева встрѣтили въ деревнѣ съ распростертыми объятіями, и здѣсь, среди ласки и вниманія, на подножномъ корму больная душа быстро поправлялась. Все старое проснулось съ новой и большей силой, какъ послѣ грозы,—проснулась любовь къ кузинѣ, проснулась страстная потребность труда.

Обновленная душа жаждала красоты и наслажденія. Этотъ періодъ времени былъ для него моментомъ самаго страстнаго увлеченія эстетикой: онъ зачитывался вдохновенными статьями Бѣлинскаго, нѣмецкими эстетиками и проникся особенно нѣжной любовью къ А. Майкову, въ которомъ особенно цѣнилъ проповѣдь гармоническаго наслажденія жизнью. Передъ нами чистый эпикуреецъ, желавшій дышать полной грудью и умѣвшій дышать ею.

Онъ переводилъ «Мессіаду» Клопштока, но уже и въ это время любимымъ его поэтомъ былъ Гейне,—привязанность, навсегда сохранившаяся у Писарева. «Атта Троль» переведена имъ.

Какъ бы желая подавить его избыткомъ счастья, и судьба въ это-же блаженное время 60-го года написала цѣлую идиллическую главу его романа. Кузина наконецъ милостиво согласилась принять его предложеніе, и Писаревъ былъ твердо убѣжденъ, что наконецъ-то онъ будетъ полнымъ обладателемъ своего сокровища.

Кузину онъ любилъ до обожанія, со всѣмъ пыломъ первой страсти, восторгался каждымъ ея движеніемъ, видѣлъ откровеніе въ каждомъ ея словѣ, а ея маленькій, только что появившійся, разсказецъ провозгласилъ перломъ искусства и эпохой въ русской литературѣ.

Немудрено, что будущее рисовалось въ самомъ радужномъ освѣщеніи. Твердо убѣжденный, что всѣ его переводы купятся на вѣсъ золота, онъ не видѣлъ никакихъ матеріальныхъ препятствій къ женитьбѣ тотчасъ-же по окончаніи курса, т. е. осенью 61-го года. Далѣе, разсчитывая зарабатывать вмѣстѣ съ будущей женой литературнымъ трудомъ много... очень много, онъ видѣлъ уже себя богатымъ человѣкомъ, мечталъ выкупить милое Знаменское, гдѣ родился,

проводить я-бы съ того, что фактически господствовала почти
ивши тамъ ода печати. Свобода эта защищалась не столько зако-
Раиса даже о общественнымъ мнѣніемъ, а такая защита не изъ дур-
живши себ о правительство, на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ,
эстетически противъ нея не имѣло: напротивъ даже — къ журна-
своемъ сало относилось съ большимъ, совершенно непонятнымъ по
центромъ, ду ременамъ вниманіемъ. Почему такъ было—мы знаемъ.
личины—сво Императоръ Николай I-й всю жизнь думалъ объ осво-
литературѣ... ьянъ, но не могъ рѣшиться на это дѣло, не встрѣчая
заглушенная л приближенныхъ. Но все-же секретные крестьянскіе
ли одинъ за другимъ и какъ-бы по наслѣдству пе-
царствованіе. Однако-же въ первомъ секретномъ
После здоров ксандрѣ II-мъ баронъ Корфъ высказалъ мнѣніе,
заняться литерат опытки къ освобожденію крестьянъ изъ крѣ-
безвѣстности свое л ттого не имѣли успѣха, что соображенія исте-
комъ тѣсной для ра зу, и что посему слѣдуетъ предоставить опыт-
Писаревъ обратился к вамъ дворянства выразить свое мнѣніе. Но
Рѣчь», прочелъ ей нѣс тобы ограничиться однимъ дворянствомъ.
веденій Марка Вовчка и превратилось въ явное, оно не замедлило
и гражданскаго міросозерц о совѣтовалось съ обществомъ, а орга-
женщина съумѣла оцѣнить я журналистика.
Писарева, но сотрудничество чимъ что находилась въ умѣлыхъ
слишкомъ увлекается культомъ к о которомъ прежде и слы-
своемъ наивномъ эгоизмѣ и не признаетъ, к оропилось жить, такъ
другихъ интересовъ въ окружающей жизни. во сознавало, что на-
сказала ему скорый умственный переворотъ всѣ безъ исключенія
ятельность. Впослѣдствіи Писаревъ съ улыбк то нельзя было не
свиданіе съ Туръ, — пока-же неудача нисколь рались на крѣ-
Онъ крѣпко вѣрилъ въ свои силы и, имѣя въ карм ъ крѣпостное
воды, а въ сердцѣ сознаніе, что кузина любитъ его, отв ъ. Уничто-
смотрѣлъ впередъ.

Духъ времени и голосъ природы потянули его къ журна нно, что
Припомнимъ, что дѣлалось тогда въ этой области. есте-

Еще никогда не бывало въ Россіи такой массы листковъ, газ Пи-
и журналовъ, какая явилась въ 1856—58 гг. Изданія появлялись
какъ грибы, хотя точнѣе было-бы сказать, какъ водяные пузыри
въ дождь, потому что какъ много ихъ появлялось, такъ-же много и
исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было-бы оклеить
башню московскаго Ивана Великаго. Изданія были всевозможныхъ

уступалъ старику ни шагу, грызся съ нимъ зубъ за зубъ, совершенно какъ съ равнымъ. Первое время старикъ вычки свирѣпо сдвигалъ брови и сверкалъ глазами, возраженія, но молодая искренность Писарева одолѣла звѣрь укротился»...

Возвращаюсь къ разсказу. Воскресшаго изъ мертвы встрѣтили въ деревнѣ съ распростертыми объятіями, ласки и вниманія, на подножномъ корму больная ду правлялась. Все старое проснулось съ новой и больш послѣ грозы,—проснулась любовь къ кузинѣ, просн потребность труда.

Обновленная душа жаждала красоты и насла ріодъ времени былъ для него моментомъ самаго нія эстетикой: онъ зачитывался вдохновенны скаго, нѣмецкими эстетиками и проникся особ къ А. Майкову, въ которомъ особенно цѣнил ческаго наслажденія жизнью. Передъ нами лавшій дышать полной грудью и умѣвшій

Онъ переводилъ «Мессіаду» Клопшт любимымъ его поэтомъ былъ Гейне,— хранившаяся у Писарева. «Атта Тр

Какъ бы желая подавить его это-же блаженное врем главу его романа. Ку его предложеніе, и Пи онъ будетъ полны

Кузину онъ страсти, вост въ каждомъ сказецъ тератур

дешевыя и научныя, ке летучіе, ила до 250 ами русской изданія слѣ- ъ, что дѣла- ались и разрѣ- внымъ боевымъ ственнымъ мнѣ- вшіе правитель- ь и дѣйствительно и углублялась въ льшая свобода и по- вать славянофильскіе ину исторіи Запада и ургомъ), и въ поддержку усъ» Ив. Аксакова. Но та- ла западно-европейской под- ный въ 1856 г. въ умѣренно завоевавшій популярность инте- ржанія. Въ Москвѣ-же издавался тогда Московское Обозрѣніе», въ которомъ участво- ые сотрудники, поставившіе себѣ задачей пол- ависимость отъ авторитетовъ. Но умственный ъ сердцѣ Россіи, а въ ея головѣ—въ Петербургѣ, даваться и занялъ первое мѣсто между журналами къ». За *Современникомъ* стояли *Отечественныя* и *Библіотека для чтенія*. Петербургъ не уступилъ а превозошелъ ее обиліемъ и разнообразіемъ новыхъ орга-

Въ Петербургѣ явился *Экономическій Указатель*, пропо- вавшій свободу торговли, неограниченную конкурренцію и лич- ную земельную собственность; *Искра*, юмористическій и сати- рическій журналъ, основанный В. Курочкинымъ съ цѣлой компа- ніей поэтовъ и юмористовъ; *Русскій Дневникъ* Павла Мельни- кова, а въ 1858 г. *Русское Слово* графа Кушелева.

Такое оживленіе журналистики совершенно понятно и естественно,

Начать хотя-бы съ того, что фактически господствовала почти полная свобода печати. Свобода эта защищалась не столько закономъ, сколько общественнымъ мнѣніемъ, а такая защита не изъ дурныхъ. И само правительство, на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ, ровно ничего противъ нея не имѣло: напротивъ даже — къ журналистикѣ оно относилось съ большимъ, совершенно непонятнымъ по нынѣшнимъ временамъ вниманіемъ. Почему такъ было — мы знаемъ. Извѣстно, что Императоръ Николай I-й всю жизнь думалъ объ освобожденіи крестьянъ, но не могъ рѣшиться на это дѣло, не встрѣчая сочувствія въ приближенныхъ. Но все-же секретные крестьянскіе комитеты засѣдали одинъ за другимъ и какъ-бы по наслѣдству перешли въ новое царствованіе. Однако-же въ первомъ секретномъ комитетѣ при Александрѣ II-мъ баронъ Корфъ высказалъ мнѣніе, что полувѣковыя попытки къ освобожденію крестьянъ изъ крѣпостного состоянія оттого не имѣли успѣха, что соображенія истекала сверху, а не снизу, и что посему слѣдуетъ предоставить опытности и добрымъ чувствамъ дворянства выразить свое мнѣніе. Но не такое было время, чтобы ограничиться однимъ дворянствомъ. Разъ дѣло изъ секретнаго превратилось въ явное, оно не замедлило стать общимъ. Правительство совѣтовалось съ обществомъ, а органомъ этого послѣдняго была журналистика.

Быстро — потому между прочимъ что находилась въ умѣлыхъ рукахъ—пріобрѣла она такое положеніе, о которомъ прежде и слыхомъ не слыхали. Все равно какъ общество торопилось жить, такъ торопилась работать и журналистика. Общество сознавало, что нахлынула новая волна, и спѣшило пересмотрѣть всѣ безъ исключенія старые устои своей жизни, и надо согласиться, что нельзя было не спѣшить. Вѣдь эти старые устои всѣ цѣликомъ опирались на крѣпостное право, на даровой мужицкій трудъ. И вдругъ крѣпостное право исчезаетъ, унесенное какъ-бы горнымъ потокомъ. Уничтожить крѣпостное право значило прорвать плотину. Естественно, что должна была обновиться вся жизнь съ головы до пятокъ, естественно, что вопросы о переустройствѣ возникали, какъ грибы. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнѣнія было, повторяю, некогда, и журналистика пріобрѣла первенствующее положеніе въ дѣятельности русской интеллигенціи. По своему практическому характеру она подходила такъ сказать вплотную къ жизни, наскоро давала общія точки зрѣнія и общіе принципы, не

выпуская изъ виду фактовъ дѣйствительности. Журналъ сталъ истинною осью русской интеллигентной мысли.

Живую натуру не могло не потянуть въ эту сферу, полную одушевленія и кипучей работы. Не могли не соблазнять роль и положеніе журналиста. Позволю себѣ напомнить слѣдующія любопытныя строки изъ воспоминаній Н. В. Шелгунова.

«Тогда, правда, и время было такое, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни послѣ, литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго мѣста. Когда на литературныхъ вечерахъ (они начались тогда впервые) являлся на эстрадѣ писатель, пользовавшійся симпатіями публики, стонъ стоялъ отъ криковъ, восторга и апплодисментовъ и стучанья стульями и каблуками. Это былъ не энтузіазмъ, а какое-то бѣснованіе, но совершенно вѣрно выражавшее то воодушевленіе, которое вызывалъ писатель въ публикѣ. И, дѣйствительно, между тѣмъ временемъ, когда можно было разсказывать (и всѣ вѣрили), что Пушкина высѣкли за какое-то стихотвореніе, и 60-ми годами легла уже цѣлая пропасть. Теперь писатель всталъ сразу на какую-то недосягаемую высоту. Въ умственную пору, когда, по общему мнѣнію, Пушкина можно было высѣчь, писатель не имѣлъ корней въ обществѣ и по своимъ интересамъ былъ для общества недосягаемъ. Поэтъ и беллетристъ услаждали тогда лишь праздный досугъ, доставляли занимательное чтеніе, а вкусы и требованія были еще настолько неразвиты, что извѣстной части *образованной* публики трагедіи Баркова были понятнѣе и выше *Полтавы* Пушкина. Въ шестидесятыхъ годахъ, точно чудомъ какимъ-то, создался внезапно совсѣмъ новый, небывалый читатель съ общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавшій думать объ общественныхъ дѣлахъ, желавшій научиться тому, что онъ хотѣлъ знать. Когда можно было высѣчь Пушкина, у насъ была только литература (Сенковскій увѣрялъ, что у насъ была тогда не литература, а только книжная торговля), теперь-же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература, поучающая и учащая, а писатель, какъ творецъ этой литературы, сталъ общественнымъ учителемъ, воспитателемъ и пророкомъ, открывавшимъ горизонты будущаго, указывавшимъ идеалы и цѣли стремленіямъ. Отношенія между читателемъ и писателемъ установились теперь вполнѣ практическія, осязательныя, такъ сказать земныя, утили-

тарныя; писатель пересталъ только развлекать праздный досугъ, онъ сталъ наставникомъ и учителемъ общественнаго строительства».

Словомъ «когда *весъ* успѣхъ реформъ зависѣлъ отъ общественнаго развитія, нельзя было не ставить высоко тѣхъ, кто творилъ это развитіе».

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было-бы странно, если-бы талантъ не соблазнился ею.

По пріѣздѣ въ Петербургъ Писаревъ прежде всего отправился въ редакцію «Русскаго Слова»—день знаменательный не только для него самого, но и для нашей литературы.

«Русское Слово» издавалось тогда Кушелевымъ. Кушелевъ былъ графъ, милліонеръ и чистокровный аристократъ. Зачѣмъ собственно понадобилось ему имѣть свой органъ—неизвѣстно, развѣ что время было такое и къ печатному слову даже титулованныя особы чувствовали нѣкоторое пристрастіе. Впрочемъ самъ Кушелевъ почти ничего не писалъ, а въ дѣла редакціи вмѣшивался такъ-же мало, какъ въ управленіе собственными многочисленными помѣстьями. Познакомившись въ Парижѣ съ Благосвѣтловымъ, онъ попросилъ его взять на себя руководство журналомъ, на что Благосвѣтловъ и согласился. Мало по малу всѣ дѣла сосредоточились въ его рукахъ, а Кушелевъ въ концѣ концовъ подарилъ ему «Русское Слово» въ вѣчное и потомственное владѣніе. Что за человѣкъ былъ Благосвѣтловъ? Намъ не мѣшаетъ сейчасъ-же отвѣтить на этотъ вопросъ, чтобы опредѣлить, какое вліяніе онъ имѣлъ или могъ имѣть на Писарева.

Разные люди смотрятъ на Благосвѣтлова различно. Иные склонны видѣть въ немъ исключительно гешефтмахера, человѣка мало-литературнаго, но умѣвшаго эксплоатировать въ свою пользу и общественное настроеніе того времени, и силы своихъ сотрудниковъ, главнымъ образомъ Писарева и Шелгунова. Другіе напротивъ вѣрятъ, что Благосвѣтловъ былъ человѣкъ искренній и что въ «Русскомъ Словѣ» ему принадлежала крупная роль, какъ организатору и вдохновителю. У меня лично нѣтъ причины распинаться за Благосвѣтлова, ни ставить надъ нимъ крестъ, почему и буду говорить совершенно спокойно.

Литературнаго таланта у редактора «Русскаго Слова» неза-

мѣтно. Два тома его сочиненій вялы и скучны, да и вообще Благосвѣтловъ писалъ плохо и не любилъ писать. Его работа была совершеннно другая. Искренно-ли любилъ онъ свой журналъ, или видѣлъ въ немъ средство вѣрной наживы—вопросъ трудный: надо полагать—и то, и другое, но во всякомъ случаѣ онъ отдавалъ ему все свое время. Онъ добровольно возложилъ на себя крестъ корректора, редактора, предпринимателя и несъ его съ какимъ-то самопожертвованіемъ. Въ редакціи онъ просиживалъ дни и ночи, возился съ сотрудниками, цензорами, типографіей, вмѣшивался въ каждую мелочь и внѣ своего журнала не признавалъ ничего. Онъ читалъ только для «Русскаго Слова», писалъ только для него и изъ 24-хъ часовъ отдавалъ ему 18.

Какъ редакторъ, онъ обладалъ однимъ несомнѣннымъ достоинствомъ: онъ былъ одаренъ чутьемъ людей, умѣлъ сразу узнавать характеръ человѣка, сразу опредѣлять, полезенъ-ли онъ, или безполезенъ для дѣла, умѣлъ группировать вокругъ себя нужныя силы и привязывать ихъ къ журналу. Успѣхъ въ его глазахъ оправдывалъ если не все, то многое, и стоило только ему замѣтить, что тотъ или другой изъ сотрудниковъ начинаетъ пользоваться вниманіемъ и сочувствіемъ публики, какъ онъ съ большимъ тактомъ немедленно-же выдвигалъ его на видное мѣсто и предоставлялъ полную свободу. Но зато неудача была грѣхомъ въ его глазахъ, и въ этомъ случаѣ, т. е. въ отношеніи къ неудачнику, сразу-же проявлялась вся сухость и даже мелочность его натуры.

Изъ идей основательно воспринята была Благосвѣтловымъ, строго говоря, единственная, именно эмансипація личности. Онъ—долго жилъ за-границей, былъ довольно основательно образованъ, и эта эмансипація представлялась ему панацеей всѣхъ золъ. Она краеугольный камень его міросозерцанія. Онъ пропагандировалъ ее усердно и постоянно готовъ былъ довести до крайности все ея содержаніе. Въ этомъ случаѣ онъ оказывалъ на многихъ изъ своихъ сотрудниковъ вліяніе, надо думать, значительное—только не на Писарева, потому что Писаревъ самъ жизнью своей «заработалъ» ту-же идею...

Разсказываютъ, что редакторская работа Благосвѣтлова происходила обыкновенн[illegible] ночамъ, среди полной тишины и одиночества кабинета. Бла[illegible]свѣтловъ запирался на ключъ и начиналъ «пра[illegible]чить». Правилъ онъ всегда въ спеціальномъ направленіи. Надо за-

мѣтить, что человѣкъ сухой, замкнутый, онъ никогда не имѣлъ близкихъ людей возлѣ себя, даже отъ семьи своей онъ держался вдалекѣ. Это одиночество невольное, тяжелое раздражало и мучило его тѣмъ сильнѣе, что онъ понималъ полную невозможность для себя стать другимъ и зажить другою жизнью. И вотъ вся злоба, накопившаяся втеченіи дня, мѣсяца, цѣлыхъ годовъ, выливалась въ этомъ «правленіи». Вставлять «словечки», злостные афоризмы, прибавлять яду — Благосвѣтловъ былъ большой мастеръ, а тогда было такое время, что ядъ нравился.

Способность къ усидчивому, кропотливому труду, неослабная, настойчивая энергія, чутье въ выбираніи нужныхъ людей, немалый запасъ редакторскаго такта и словечки—вотъ кажется все хорошее, что было у Благосвѣтлова. А дальше—хорошаго мало.

Знающіе люди увѣряютъ, что въ его натурѣ было что-то аляповатое, грубое, глубоко-мѣщанское. Ни граціи, ни изящества, ни даже сердечности. Это отражалось столько-же въ отношеніяхъ къ людямъ, сколько въ покроѣ его платья, въ обстановкѣ его квартиры, въ тысячѣ другихъ мелкихъ подробностей его жизни. Разбогатѣвши, онъ задумалъ убрать свой домъ на широкую ногу, не пожалѣлъ денегъ на мебель, посуду и прочее, и все это вышло у него какъ-то по купечески, безъ всякой красоты и изящества. Такое-же «купеческое» было у него самодовольствіе, такъ-же рѣзко хвасталъ онъ своимъ «капиталомъ», нисколько не понимая, что человѣкъ, передъ которымъ онъ хвастаетъ, можетъ не только не интересоваться этимъ, но и прямо обидѣться. По купечески разсчитывался Благосвѣтловъ и съ своими сотрудниками, любилъ недоплачивать и даже не изъ жадности, а изъ какого-то страннаго охотнорядскаго принципа, и вообще платилъ ужасно мало. Цвѣтъ и красота «Русскаго Слова»—Писаревъ получалъ всего по 50 рублей съ листа, причемъ, надо замѣтить, по крайней мѣрѣ одинъ изъ 3 написанныхъ имъ листовъ не шелъ по цензурнымъ условіямъ, а Благосвѣтловъ платилъ лишь за напечатанное. По своей деликатности, Писаревъ денежныхъ разговоровъ не поднималъ, и, по полному отсутствію деликатности, Благосвѣтловъ все время продолжалъ платить по 50 р. с., отговариваясь тѣмъ, что Писаревъ работаетъ «очень легко», что «въ крѣпости расходовъ мало» и т. д.

Теперь, если мы примемъ во вниманіе, что Писаревъ сталъ работать въ «Русскомъ Словѣ» почти въ одно время съ Благосвѣтло-

вымъ, что идея эмансипаціи личности была полностью разработана въ его головѣ, что по части словечекъ и злостныхъ афоризмовъ онъ не ощущалъ ни малѣйшей надобности, то къ чему-же спрашивается сводится вліяніе Благосвѣтлова? Къ очень и очень немногому, если только къ чему-нибудь, хоть, какъ увидимъ ниже, самъ Писаревъ въ письмѣ по адресу «Современника» это вліяніе признавалъ и даже отводилъ ему большую роль въ исторіи своего умственнаго развитія. Но это дѣлалось преимущественно изъ вѣжливости и для показанія солидарности. Для меня-же несомнѣнно, что на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ Благосвѣтловъ пытался разыгрывать роль ментора, очень можетъ быть, что онъ заставилъ Писарева серьозно призадуматься надъ формулой чистаго искусства, но все-же не такой былъ Писаревъ человѣкъ, чтобы говорить съ чужого голоса. Любая мысль должна была предварительно войти въ его плоть и кровь, органически слиться со всѣмъ его міросозерцаніемъ, и тогда только онъ принимался за ея пропаганду.

Дальнѣйшее изложеніе подтвердитъ справедливость высказаннаго взгляда.

Благосвѣтловъ, отличавшійся пріятной манерой «водить» наклевывавшихся новыхъ сотрудниковъ и сильно возстановлявшій противъ себя этимъ пріемомъ всѣхъ, кому только приходилось имѣть съ нимъ дѣло, принялъ Писарева довольно свысока и взглянулъ на него тѣмъ болѣе покровительственно, что юноша сообщилъ ему не безъ гордости о своемъ сотрудничествѣ въ «Разсвѣтѣ». Но Писаревъ былъ неробкаго десятка и, нисколько не смутившись олимпійскимъ пріемомъ, отдалъ Благосвѣтлову «Атта Троль», заломивши при этомъ несообразную цѣну, совершенно развязно просилъ назначить день, когда онъ можетъ прійти за отвѣтомъ. Благосвѣтловъ сталъ тянуть и довелъ наконецъ Писарева до того, что тотъ потребовалъ или категорическаго отвѣта, или рукопись. Дѣло однако благополучно уладилось, и «Атта Троль», проданный за 280 рублей, появился въ «Русскомъ Словѣ» за 1860 г. зимою.

Благосвѣтлову можно отдать ту справедливость, что онъ учуялъ Писарева и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ предложилъ ему постоянное сотрудничество, сначала впрочемъ въ отдѣлѣ библіографіи. Но очень скоро Писаревъ выступилъ статьями «Уличные типы» и «Идеализмъ Платона».

Когда читаешь ту и другую, просто не вѣрится, что онѣ напи-

саны 20-ти-лѣтнимъ литераторомъ. Писаревъ удивительно владѣетъ своимъ перомъ и мыслью, не разбрасывается, каждый вопросъ разбираетъ до конца. Стиль сдержанный, но свободный, въ немъ чувствуется затаенная страстность, которой Писаревъ не считаетъ пока возможнымъ давать простора. Его литературная физіономія уже опредѣлилась. Казалось-бы здѣсь, въ этихъ первыхъ статьяхъ, можно было-бы ожидать и громкихъ фразъ, и отсутствія выдержки. Ничуть не бывало. Онъ «разноситъ» Голицынскаго, но разноситъ, какъ джентльмэнъ, безъ ругани, безъ брани и рѣзкихъ выходокъ—какъ настоящій маэстро, съ полнымъ достоинствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ Голицынскаго ничего не остается. Содержаніе «Уличныхъ типовъ» не особенно оригинально, но въ статьѣ «Идеализмъ Платона» уже высказаны задушевныя мысли. Позволю себѣ привести слѣдующій отрывокъ (стр. 64—65):

«Мы позволяемъ нашему ближнему имѣть свой вкусъ по отношенію къ закускѣ и флерту, но бѣда ему, если онъ выразитъ самостоятельное мнѣніе о нравственности, и еще большая бѣда... если онъ проведетъ свои идеи въ жизнь даже въ своемъ домашнемъ быту. Если взвѣсить дѣло простымъ здравымъ смысломъ, то мы имѣемъ право требовать отъ нашего сосѣда лишь того, чтобы онъ не вредилъ нашей особѣ матеріальнымъ насиліемъ, чтобы онъ не присваивалъ ея себѣ мошенническими продѣлками.»

Затѣмъ идетъ излюбленная эмансипація «я»...

«Я,—пишетъ Писаревъ,—не поставлю впередъ никакой цѣли, я не знаю, къ какимъ результатамъ я приду, и меня вовсе не занимаетъ вопросъ, что я сдѣлаю въ жизни; меня занимаетъ самый процессъ дѣланія; я вижу, что я никому не мѣшаю своей дѣятельностью, и на этомъ основаніи считаю себя правымъ передъ собою и цѣлымъ міромъ; я работаю и стараюсь облегчить себѣ трудъ или (что то-же самое) вынести изъ каждаго своего усилія возможно большее количество наслажденій; это, по моему мнѣнію, альфа и омега всякой разумной человѣческой дѣятельности.»

Необходимо прежде всего эмансипировать свою личность, т. е. найти свое «я», свое призваніе.

Эмансипировать свою личность не такъ просто и легко, какъ кажется; въ насъ много умственныхъ предубѣжденій, много нравственной робости, мѣшающей намъ свободно желать, мыслить и дѣйствовать, мы сами добровольно стѣсняемъ себя собственнымъ вліяніемъ на свою личность; чтобы избѣгнуть такого вліянія, чтобы жить своимъ умомъ въ свое удовольствіе, надо значительное коли-

чество естественной или выработанной силы, а чтобы выработать эту силу, надо можетъ быть пройти цѣлый курсъ нравственной гигіены, который кончится не тѣмъ, что человѣкъ приблизится къ идеалу, а тѣмъ, что онъ сдѣлается личностью, получитъ разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть собой.

Сообщенные мною факты изъ жизни Писарева могутъ, какъ кажется, служить достаточнымъ комментаріемъ къ приведеннымъ строкамъ.

Итакъ: «рефлексъ развитія вызываетъ аффектъ наслажденія» — это и есть основаніе личной нравственности. А общественная? «Не мѣшайте другимъ слѣдовать по тому же блаженному пути, не мѣшайте никому развиваться и достигнуть своей умственной и нравственной самостоятельности»...

* * *

Университетскій курсъ между тѣмъ приближался къ концу.

«Я—разсказываетъ Писаревъ—почти не ходилъ на лекціи, но работалъ сильно. Послѣ пріѣзда съ каникулъ я рѣшился писать диссертацію на медаль, на историческую тему, заданную Ироніанскимъ *). Предпріятіе было дерзкое. Тема была задана въ началѣ февраля, въ то время, какъ я еще отрицалъ солнце и луну; кто писалъ на эту тему, тотъ принялся за работу тотчасъ-же послѣ объявленія задачи, а я началъ изучать предметъ диссертаціи въ началѣ октября, между тѣмъ какъ всѣ сочиненія должны быть представлены никакъ не позже первыхъ чиселъ января. Мѣсяцъ былъ употребленъ на чтеніе и выписки, а въ ноябрѣ я принялся писать. Дѣло пошло быстро и успѣшно, отчасти на живую нитку, кое-гдѣ на авось, съ широкими взглядами и рискованными обобщеніями. Я писалъ безъ черновой, потому что переписывать было-бы некогда, и старался обработать предметъ такъ, чтобы произведеніе мое могло быть помѣщено въ какомъ нибудь журналѣ. Къ началу января я кончилъ свой трудъ и замѣтилъ не безъ удовольствія, что въ немъ по крайней мѣрѣ 15 печатныхъ листовъ. Впрочемъ недостатокъ времени помѣшалъ мнѣ развить нѣкоторыя мысли, которыя были уже совсѣмъ выработаны въ моемъ умѣ; дѣлать было нечего; я махнулъ на нихъ рукою, написалъ на своей диссертаціи эпиграфъ «еже писахъ, писахъ» и предоставилъ ее, куда слѣдуетъ.»

«Еже писахъ» оказалось однако произведеніемъ настолько блестящимъ и талантливымъ, что Писареву присудили серебряную медаль, но многіе изъ профессоровъ требовали для него золотой. Но

*) Объ Аполлоніи Тіанскомъ. Ироніанскій—профессоръ Благовѣщенскій.

золотая досталась его конкуренту Утину «за обстоятельность и основательность». Писаревъ съ спокойнымъ сердцемъ удовлетворился и серебряной, тѣмъ болѣе, что работа была зачтена ему за диссертацію. Чтобы закончить съ «Аполлоніемъ Тіанскимъ», скажемъ, что редакція «Русскаго Слова» открыла для него страницы своего журнала и выплатила Писареву что-то рублей 600.

Итакъ, весной 61 года университетскій курсъ былъ законченъ, и притомъ не формально законченъ, но и по существу. Писаревъ махнулъ рукою на свои юношескія мечты о профессурѣ, о чистой наукѣ и весь съ головой погрузился въ журналистику. Съ этихъ поръ и надолго журналистика—его пища духовная, смыслъ и красота его умственнаго бытія. Связь со старыми товарищами оборвалась...

«Русское Слово»,—разсказываетъ онъ,—было преисполнено суеты и гордости, и благонравные товарищи мои, состоявшіе уже на дѣйствительной службѣ, бросили на меня прощальный взглядъ полный укора и сожалѣнія, когда увидѣли, что я беззаботно и весело пошелъ по скользкому пути журналиста. На статьи мои они смотрѣли съ глубокимъ презрѣніемъ, меня самого они рѣшительно и откровенно исключили изъ своего круга. О читатель, и это неправдоподобно, но и это правда. Они считали меня ренегатомъ, маленькимъ Брамбеусомъ, недостойнымъ сыномъ университетской науки, обратившимся противъ родной матери, и, надо сказать правду, они не ошибались въ этомъ отношеніи. Могъ-ли же я ожидать послѣ этого себѣ помилованія? Вижу и понимаю, что мои товарищи, бывшіе филологи—люди честные и умные, вполнѣ достойные уваженія и сочувствія, но вижу также, что мнѣ съ ними уже не сойтись. Имъ предстоятъ двѣ дороги, и ни на одной изъ этихъ дорогъ я не встрѣчусь уже съ ними. Они могутъ продолжать съ успѣхомъ свою службу въ разныхъ департаментахъ и сдѣлаться черезъ нѣсколько лѣтъ просвѣщенными администраторами; или они могутъ осуществить свою университетскую мечту—сдѣлаться свѣтилами общественной науки. Очевидно, что журналистъ, исполненный суеты и гордости, ни администраторомъ, ни свѣтиломъ быть не можетъ; очевидно даже, что онъ и знакомства водить не можетъ ни съ администраторами, ни со свѣтилами, потому что онъ имъ совсѣмъ не пара, стоятъ они на разныхъ плоскостяхъ, живутъ въ разныхъ мірахъ, смотрятъ на вещи съ различныхъ точекъ зрѣнія и приходятъ разными путями къ противоположнымъ выводамъ и ре-

зультатамъ. Стало быть мнѣ остается только, вспоминая о моихъ добрыхъ и честныхъ товарищахъ, послать имъ на этихъ страницахъ послѣднее дружеское прости и увѣрить, что я съ своей стороны всегда готовъ и радъ съ ними сойтись и что въ то-же время я не вижу въ тому ни возможности теперь, ни надежды—въ будущемъ.»

Слѣдовательно: alea est jacta. Университетскій Рубиконъ перейденъ и впереди сознательно и радостно избранный скользкій путь журналиста. Разумѣется разрывъ съ товарищами, особенно съ Трескинымъ, не могъ не доставить Писареву многихъ тяжелыхъ минутъ, и сколько горечи въ этихъ шутливыхъ словахъ: «литераторъ не можетъ даже знакомства вести съ администраторами и свѣтилами», тѣмъ болѣе, что Трескинъ дѣйствительно грубо отказался вести знакомство съ Писаревымъ послѣ первыхъ же статей послѣдняго въ «Русскомъ Словѣ»,—но все же Писаревъ былъ бодръ и радостенъ духомъ: будущее улыбалось ему.

Даже амурная канитель съ кузиной шла довольно благопріятно, но такъ какъ новаго въ этой канители пока еще ничего не случилось, то гораздо любопытнѣе остановиться на одномъ изъ писемъ Писарева къ матери, гдѣ онъ оправдываетъ свою возлюбленную отъ упрековъ въ безнравственности.

«Раиса живетъ у Ан. Д., потому что нигдѣ она не можетъ жить до такой степени свободно и сообразно съ своими желаніями и наклонностями. Она окружена мужчинами—это правда, но она любитъ общество мужчинъ гораздо больше общества женщинъ, потому что, при теперешнемъ состояніи общества, умныхъ и развитыхъ мужчинъ гораздо больше, чѣмъ умныхъ и развитыхъ женщинъ. У Раисы каждый день бываютъ Гарднеръ и Хрущовъ; я нахожу это совершенно законнымъ во 1-хъ потому, что вижу, что Раиса пріятно проводитъ съ ними время, во 2-хъ потому, что мнѣ самому съ ними весело. Что касается до qu'en dira-t-on, то я никогда не сдѣлаю ни шагу, чтобы измѣнить объ себѣ мнѣніе свѣта въ ту или другую сторону, за исключеніемъ того случая, когда это мнѣніе можетъ принести мнѣ какія-нибудь существенныя выгоды и наслажденія. Могу тебѣ поклясться, что между этими людьми у Раисы нѣтъ любовника, а если бы и былъ таковой, то ни ея отецъ, ни ты, ни я не имѣемъ права вмѣшиваться въ ея дѣла. Selon mes convictions la femme est libre d'ésprit et de corps et elle peut disposer de sa personne sans en rendre compte même à son mari. Si une femme, qui pouvait jouir de la vie, ne l'a pas fait, il n'y a pas de vertu la dedans, une telle conduite est un resultat d'une masse des préjugés qui gènent et qui produisent des empechements inutils et imaginaires. La vie est belle et il faut en jouir, c'est sous ce point de vue que je la considère et que

je trouve bon et juste, que chacun règle sa conduite sur cette belle maxime» *).

Взглядамъ на женщину, изложеннымъ въ этомъ письмѣ, Писаревъ остался вѣренъ всю свою жизнь. Это—та же эмансипація личности.

Характерна между прочимъ фраза: «жизнь прекрасна, нужно ею наслаждаться, и я нахожу справедливымъ, чтобы каждый руководился въ своемъ поведеніи этимъ прекраснымъ правиломъ». Ясно, что и въ статьяхъ, и въ письмахъ, и въ разговорахъ Писаревъ проводилъ это время тѣже взгляды эпикурейскаго эгоизма. Онъ чувствовалъ себя молодымъ, бодрымъ, полнымъ силъ, вся жизнь сосредоточилась для него въ одной его собственной личности, и онъ знать не хотѣлъ ни долга, ни обязательствъ, ни «расплаты»... Откровенно писалъ онъ матери:

«Было-бы конечно изящнѣе съ моей стороны, если-бы вмѣсто того, чтобы разбрасывать деньги, я ими помогалъ семейству, какъ это дѣлаетъ напр. Трескинъ. Но у меня нѣтъ этого влеченія; чѣмъ больше я вглядываюсь въ себя, тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ томъ, что, кромѣ Раисы, я никого не люблю. Всѣ остальные люди, ты, Вѣрочка, папа, Благосвѣтловъ, Жуковскій, доставляютъ мнѣ больше или меньше удовольствія, и я сообразно съ этимъ люблю съ ними бывать».

Въ эгоизмѣ Писарева за этотъ періодъ есть что-то молодое, вызывающее, воинствующее. Онъ нѣсколько даже парадируетъ имъ. «Для меня — пишетъ онъ другой разъ — каждый человѣкъ существуетъ на столько, на сколько онъ приноситъ мнѣ удовольствія.

---

*) Согласно съ моими убѣжденіями женщина свободна духомъ и тѣломъ и можетъ распоряжаться собой по усмотрѣнію, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла-бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ей, то въ этомъ нѣтъ добродѣтели. Такое поведеніе является результатомъ массы предразсудковъ, которые стѣсняютъ и производятъ безполезныя и воображаемыя затрудненія. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. Съ такой точки зрѣнія смотрю я на нее и нахожу справедливымъ, чтобы каждый руководился тѣмъ-же великолѣпнымъ принципомъ.

Это не теорія, это не фраза, это самая откровенная исповѣдь. Какъ я перестаю видѣть человѣка, такъ онъ перестаетъ существовать для меня на время разлуки».

Писаревъ часто говорилъ о томъ, что онъ живетъ лишь настоящимъ, и оттого счастливъ и бодръ всегда, а свою теорію эгоизма высказываетъ матери съ жесткой даже откровенностью. Такая его натура была, что онъ ни во имя чего, ни ради чего кривить душой не соглашался, а говорилъ по настроенію.

Настроеніе же было воинствующее, эпикурейское. Но уже и въ это время оно начинало расширяться и принимать въ себя новые элементы, за развитіемъ которыхъ мы будемъ слѣдить съ особенной тщательностью. Съ этой точки зрѣнія любопытно хотя бы вкратцѣ познакомиться съ его статьей «Схоластика XIX-го вѣка»... Въ общихъ чертахъ я напомню ее читателю.

Но пока одно маленькое замѣчаніе. Эгоизмъ Писарева столько разъ вызывалъ благородное негодованіе, что это наконецъ надоѣло, почему я и питаю надежду, что читатель благоразумно воздержится отъ него и прочтетъ нижеслѣдующія страницы, гдѣ тотъ же эгоизмъ является передъ нами совершенно въ другомъ видѣ. Однако изъ пѣсни слова не выкинешь, не выкинешь и изъ исторіи умственнаго развитія Писарева цѣлаго періода, когда онъ, слѣдуя настроенію—нѣсколько теоретическому во всякомъ случаѣ,—является передъ нами въ образѣ ликующаго эпикурейца, которому дѣйствительно самъ чортъ не братъ. Какъ идея эмансипаціи личности и абсолютной ея свободы запала въ душу Писарева—мы знаемъ, но онъ не просто развивалъ ее, онъ утрировалъ ее, доводя до абсурда. Многое повинно въ этой утрировкѣ... Повинны прежде всего тѣ пеленки, въ которыхъ держали его въ годы дѣтства и юности, и чѣмъ туже

были затянуты эти пеленки, тѣмъ энергичнѣе должны были быть тѣлодвиженія человѣка, освободившагося отъ нихъ; повинны 20 лѣтъ и инстиктивное сознаніе собственной могучей силы, твердо вѣровавшей, что она горы съ мѣста сдвинетъ; повиненъ аналитическій складъ ума, доводившій каждое положеніе до послѣднихъ результатовъ, хотя бы эти результаты заканчивались глухимъ переулкомъ.

VII.

«Схоластика XIX вѣка». — Умственный демократизмъ. — Быстрые успѣхи.— Новая глава романа.—Трагическій эпизодъ.

Дебюты Писарева въ «Русскомъ Словѣ» были удачны. Но особенно много разговоровъ, толковъ и споровъ возбудила его статья «Схоластика XIX вѣка» (мартъ 61 г.). Надо впрочемъ замѣтить, что самъ Писаревъ относился впослѣдствіи очень пренебрежительно къ своей «Схоластикѣ».

«Мою схоластику,—говоритъ онъ въ письмѣ къ матери,—я въ 61 г. писалъ положительно по слухамъ, о нашей литературѣ и критикѣ я не имѣлъ почти никакого понятія, и удивляюсь теперь только двумъ вещамъ: во-первыхъ, какъ я не навралъ тамъ еще больше чепухи, и во-вторыхъ, какъ тѣ серьезные люди, которые писали объ этой статьѣ, не разобрали, на какихъ жидкихъ основаніяхъ она построена». (1864).

Писаревъ нѣсколько преувеличиваетъ дѣло. Что онъ въ то время

не зналъ ни литературы, ни критики—это несомнѣнно, но въ «Схоластикѣ»—зародышъ его будущихъ «Реалистовъ» и вообще самыхъ яркихъ его статей. Кстати надо замѣтить, что эта-же «Схоластика» дала ему вполнѣ опредѣленное мѣсто въ журналистикѣ.

Прежде всего Писаревъ говоритъ объ обязанностяхъ литературы: «литература во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ должна бить въ одну точку: она должна всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаютъ на нее робость собственной мысли, предразсудки касты, авторитетъ преданія, стремленія къ общему идеалу и весь тотъ отжившій хламъ, который мѣшаетъ живому человѣку свободно дышать и развиваться во всѣ стороны».

Но вмѣсто этого — несмотря на то, что передъ литературой стоитъ такое важное, живое дѣло, какъ эмансипація личности—она занимается собственными кружковыми интересами, посвящаетъ публику въ нисколько не интересныя ей литературныя распри, а къ вопросамъ жизни, науки, искусства подходитъ какъ-то робко, съ оглядкой. Надо быть не только ближе къ дѣйствительности, но и питаться ею, волноваться ею, изучать ее и освѣщать ее. Но «жизнь идетъ мимо литературы, а журнальныя теоріи одна за другою сдаются въ архивъ и умираютъ». Современная-же критика грѣшитъ именно тѣмъ, что она задается теоріями и изобрѣтаетъ жизнь вмѣсто того, чтобы приглядываться и прислушиваться къ звукамъ окружающей дѣйствительности.

И для кого существуетъ литература? Для незначительнаго кружка избранныхъ, такъ какъ гг. литераторы не желаютъ спуститься до той жаждущей умственной пищи части общества, которая стоитъ на рубежѣ двухъ элементовъ—народа и интеллигенціи, и «какъ будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаній сверху внизъ». Словомъ, средніе и низшіе слои интеллигенціи игнорируются журналистикой. Какъ-же подойти къ нимъ, какъ-же сблизиться съ ними? Для этого прежде всего надо стоять на почвѣ практической дѣятельности, на почвѣ факта, надо почаще прибѣгать къ здравому смыслу вмѣсто отвлеченныхъ и книжныхъ теорій.

«Не будемъ—продолжаетъ Писаревъ—обманывать самихъ себя, вѣдь мы должны писать для общества, слѣдовательно должны заниматься тѣмъ, что всѣмъ доступно и всѣмъ должно принести пользу. Какой-нибудь общественный скандалъ въ данную минуту интересуетъ публику гораздо больше, нежели рѣшеніе вопроса о томъ, существуютъ-ли у насъ западники или славянофилы; по поводу этого общественнаго скандала вы можете развить нѣсколько свѣтлыхъ идей и заронить въ вашихъ читателяхъ кое-какіе задатки развитія и движенія впередъ. Спрашивается, по какому-же побужденію вы не воспользуетесь этимъ случаемъ? Потому, скажете вы, что не желаете уронить достоинство идеи, не желаете смѣшаться въ толпу крикуновъ, свистуновъ и пр. Что за щепетильность, что за отвлеченность, что за брезгливость, что за фешенебельное и въ то-же время педантическое презрѣніе къ идеямъ, которыя волнуютъ окружающихъ васъ людей!..»

А между тѣмъ литература *должна* и можетъ совершить великое дѣло — помочь своимъ читателямъ выработать міросозерцаніе, дѣйствующее и практическое. Для этого надо спуститься съ высоты теоріи, такъ какъ «народъ хитрѣе сталъ и ни на какую штуку не ловится... Умъ нашъ требуетъ фактовъ, доказательствъ, фраза насъ не отуманитъ, и въ самомъ блестящемъ и стройномъ созданіи фантазіи мы подмѣтимъ слабость основанія и произвольность выводовъ».

Что-же это за практическое, дѣйствующее міросозерцаніе, которое необходимо, чтобы каждый былъ работникомъ?

«Если-бы всѣ въ строгомъ смыслѣ слова были эгоистами по убѣжденіямъ, т. е. заботились только о себѣ и повиновались бы одному влеченію чувства, то, право, тогда привольнѣе было-бы жить на бѣломъ свѣтѣ, нежели теперь, когда о васъ заботятся чуть не съ колыбели сотни людей, которыхъ вы почти не знаете и которые не знаютъ васъ, какъ личность, а какъ единицу, какъ члена мѣстнаго общества, какъ недѣлимое, носящее то или другое фамильное прозвище.»

Итакъ, прежде всего надо эмансипировать свою личность отъ идеи долга и обязанности и свободно отдаться влеченію своей натуры, которое прежде всего хочетъ личнаго счастья и наслажденія. Не надо ставить себѣ цѣли жизни съ точки зрѣнія какого-нибудь общаго, отвлеченнаго идеала...

«Если—говоритъ Писаревъ—вы поставите себѣ цѣль жизни, несовмѣстную съ вашими наклонностями, тогда вы испортите себѣ свою жизнь; вы потратите всю энергію на борьбу съ собой; если не побѣдите себя, то останетесь недовольны; если побѣдите себя, тогда вы сдѣлаетесь автоматомъ, чисто разсудочнымъ, сухимъ и вялымъ человѣкомъ. Старайтесь жить полною жизнью, не дрессируйте и не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности въ угоду

заведенному порядку и вкусу толпы—и, живя такимъ образомъ, не спрашивайте о цѣли. Цѣль сама найдется, и жизнь рѣшитъ вопросы прежде, нежели вы ихъ предложите».

Влеченіе и наклонность должны явиться опредѣляющими факторами дѣятельности. И хотя Писаревъ прекрасно понималъ, что эмансипація личности и уваженіе къ ея самостоятельности являются послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи,—все-же литература должна бить въ эту точку, оставивъ свое преклоненіе передъ «фокусами и подвигами самопожертвованія»... Иначе, «оставаясь для насъ незамѣтнымъ», это умственное и нравственное рабство медленнымъ ядомъ отравляетъ нашу жизнь. Мы умышленно раздваиваемъ свое существо, наблюдаемъ за собой, какъ за опаснымъ врагомъ, хитримъ передъ собою и ловимъ себя въ хитрости, боремся съ собою, побѣждаемъ себя, находимъ въ себѣ животные инстинкты и ополчаемся на нихъ силою мысли; вся эта глупая комедія кончается тѣмъ, что передъ смертью мы, подобно римскому императору Августу, можемъ спросить у окружающихъ людей: «хорошо-ли я сыгралъ свою роль?» Нечего сказать! Пріятное и достойное препровожденіе времени. Поневолѣ вспомнишь слова Нестора: «никто-же ихъ не бише, сами ся мучаху».

Затѣмъ Писаревъ, посвящая нѣсколько злыхъ страницъ гг. спиритуалистамъ, идеалистамъ и супранатуралистамъ, рѣшительно заявляетъ, что не хочетъ видѣть въ жизни «ни цѣли, ни идеала, а лишь одинъ процессъ, который человѣкъ можетъ приспособить себѣ и наслаждаться имъ», и наконецъ еще разъ энергично высказываетъ свою задушевную мысль о необходимости и возможности *демократизировать* науку, искусство и литературу, избавить ихъ отъ теоретичности и идеализма и, сдѣлавъ ихъ доступными для каждой эмансипированной или желающей эмансипироваться личности, тѣмъ самымъ дать ей прочный фундаментъ для дѣятельности.

«Отвлеченности (т. е. идеализмъ, спиритуализмъ, супранатурализмъ и пр.) могутъ быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по двумъ причинамъ; во-первыхъ, во имя цѣлостности человѣческой личности, во-вторыхъ, во имя того здороваго принципа, который, постепенно проникая въ общественное сознаніе, нечувствительно сглаживаетъ грани сословій и разбиваетъ кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ—явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній и гуманнаго раз-

витія представляетъ конечно одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ. Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты. Вѣдь надо-же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяютъ людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ; но эта не правда: истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно ощупать руками и разсмотрѣть глазами, то пойметъ и десятилѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человѣкъ, и ученый спеціалистъ».

Что-же, въ сущности, за вещь такая схоластика XIX вѣка? Схоластика XIX в. это прежде всего идея долга и обязанности, которая надѣваетъ на личность нравственныя путы, это тѣ теоріи, которыя отвлекаютъ личность отъ дѣйствительнаго, очевиднаго, практическаго, заставляютъ ее бояться самой себя, голоса своей натуры, своихъ наклонностей и мѣшаютъ ей, «приспособивъ къ себѣ процессъ бытія, наслаждаться имъ»... Невозможность очевиднаго проявленія исключаетъ дѣйствительность существованія. Таковъ философскій принципъ, выдвинутый Писаревымъ въ центрѣ статьи.

Но въ ней есть и болѣе существенная часть, т. е. всѣ тѣ страницы, которыя посвящены требованію демократизировать науку, искусство и литературу. По этому поводу Писаревъ дѣлаетъ глубокое замѣчаніе, что все *схоластическое гнѣздится въ кружковщинѣ*. Вынесите науку, литературу, искусство на свѣжій воздухъ, постарайтесь сдѣлать ихъ очевидными и доступными для массы, для всѣхъ, а не только для спеціалистовъ или преподавателей какой-нибудь ученой или литературной касты, и вы увидите, какъ много ненужнаго отпадетъ при этомъ, и все оплодотворится дѣйствительными потребностями насущной жизни.

Если есть «умственный аристократизмъ», то міросозерцаніе, изложенное въ «Схоластикѣ XIX в.», можетъ быть названо «*умственнымъ демократизмомъ*». Я говорю: «умственнымъ», потому что эволюцію ума, развитіе критической мысли, прогрессъ науки Писаревъ всегда ставилъ въ голову историческаго развитія. Въ этомъ случаѣ онъ смѣло можетъ быть названъ ученикомъ Бокля и Конта, но ученикомъ-демократомъ, для котораго столько-же важенъ прогрессъ науки, сколько распространеніе этого прогресса въ массѣ.

Проницательный читатель понимаетъ кромѣ того, какъ теорія

пользы легко можетъ вырасти на этой почвѣ убѣжденнаго демократизма. Но объ этомъ ниже. Пока—нѣсколько фактовъ изъ жизни Писарева.

Успѣхъ статей Писарева въ «Русскомъ Словѣ» былъ настолько очевиденъ, что въ скоромъ времени Благосвѣтловъ сдѣлалъ его своимъ помощникомъ.

«Конечно—писалъ впослѣдствіи Писаревъ матери про эту эпоху своей жизни — у меня не было тогда ни малѣйшей практической опытности, и я толковалъ о жизни, какъ совершенный ребенокъ, но я чувствовалъ въ себѣ присутствіе такихъ силъ и такой энергіи, которыя непремѣнно должны были очень быстро выдвинуть меня впередъ. И развѣ это чувство обмануло меня? Развѣ я теперь помѣнялся-бы своимъ положеніемъ съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ товарищей? Уже въ концѣ 61-го года, когда литературная карьера моя продолжалась всего нѣсколько мѣсяцевъ, мнѣ говорили очень опытные люди, что такого другого литературнаго дебюта они не запомнятъ. Да я и самъ это видѣлъ. Въ ноябрѣ 61-го года я получилъ приглашеніе работать для *Современника* и отказался — зане возлюбилъ *Русское Слово*», гдѣ Писарева ласкали и холили, устраивали для него преферансъ по маленькой и окружали всякой заботливостью.

Но зато «романъ» шелъ совершенно неблагополучно. Раиса, какъ и слѣдовало ожидать, влюбилась въ какое-то «умственное ничтожество, но зато въ человѣка «avec une verve animale» — и рѣшилась отдать ему руку и сердце. Писаревъ не выдержалъ и, спустившись съ высоты своей теоріи, утверждавшей, что каждый имѣетъ право располагать собою по собственному усмотрѣнію, — хотѣлъ драться на дуэли, подрался просто и «навѣрное застрѣлился-бы, не люби я такъ свою собственную особу», какъ вспоминалъ онъ впослѣдствіи.

Finita la comedia! — и на самомъ дѣлѣ отношенія Раисы къ Писареву напоминаютъ собою комедію. Она просто на просто испытывала на немъ власть своей «ewig Weibliche», а можетъ быть просто держала про запасъ, рѣшительно не обращая вниманія на то, что человѣкъ положительно на стѣну лѣзетъ.

Писаревъ самъ впослѣдствіи объяснялъ неудачу своей любви тѣмъ, что онъ слишкомъ много умствовалъ и занимался пропагандой теорій, когда «умѣстнѣе было засверкать глазами, схватить въ объятія и поступить «по мущински». Но какъ-бы то ни было, такъ

долго лелѣянная мечта его жизни была разбита, и онъ съ еще большей охотой окунулся съ головой въ свою литературу и ту разсѣянную жизни, которую велъ уже довольно давно, со времени сотрудничества своего въ «Русскомъ Словѣ».

Любопытна между прочимъ послѣдняя попытка Писарева отстоять свою любовь и во что-бы то ни стало завоевать себѣ любимую женщину. Онъ предложилъ Раисѣ, чтобы она вышла за него замужъ и затѣмъ тотчасъ, послѣ обряда вѣнчанія, прямо изъ церкви ѣхала съ Г. за-границу или куда угодно. Предлагая эту развязку, онъ прекрасно сознавалъ, что ему отвѣтятъ негодованіемъ или насмѣшкой, но ему самому этотъ исходъ казался самымъ простымъ и естественнымъ; ставши законнымъ мужемъ, онъ давалъ возможность любимой женщинѣ вернуться къ нему на законномъ основаніи, когда чаша страсти была-бы выпита до дна... Разумѣется, на такой компромиссъ никто не пошелъ.

Но гроза надвигалась и съ другой стороны.

Весною 62-го года рѣшено было пріостановить временно «Русское Слово» и «Современникъ».

Писаревъ писалъ по этому поводу матери:

«Кажется, закрытіе обоихъ журналовъ продолжится до Новаго года; въ этомъ интервалѣ я не намѣренъ писать въ другихъ журналахъ, потому что всѣ они дрянь, поэтому я думаю ѣхать въ Грунецъ и жить тамъ, покуда не откроется «Современникъ» или «Русское Слово», или что-нибудь имъ подобное, Il faut savoir accepter avec dignité une defaite politique».

Эта записка—послѣдняя, писанная Писаревымъ съ воли, дальше пойдутъ его письма изъ крѣпости.

Попалъ онъ въ крѣпость слѣдующимъ образомъ. Живя въ мезоновскихъ номерахъ, Писаревъ познакомился со студентомъ Балло-

домъ. Молодые люди не были близки между собой, знакомство ихъ было, что называется, «шапочное» и очень скоро прекратилось. Въ апрѣлѣ 62-го года появилась надѣлавшая много шуму брошюра барона Шедоферотти, разбиравшая письмо Герцена къ русскому посланнику въ Лондонѣ. Писаревъ тотчасъ-же по выходѣ брошюры въ свѣтъ вписалъ ея разборъ, очень несочувственный и рѣзкій, но все-же въ тонѣ, который допускался тогда въ печати, и разсчитывалъ помѣстить свою статью въ майской книжкѣ «Русскаго Слова», но цензоръ рѣшительно заявилъ, что статья, какъ-бы ее не передѣлывали, невозможна. Случилось между тѣмъ, что Баллодъ, зайдя къ Писареву и узнавъ объ участи рецензіи, предложилъ ее пустить въ ходъ на тайномъ станкѣ. Писаревъ однако сказалъ, что «это» не стоитъ, на чемъ пока и остановилось дѣло. Но когда «Русское Слово» запретили и Баллодъ возобновилъ свои просьбы, Писаревъ написалъ другую статью о томъ-же предметѣ, статью возможную только въ подпольной печати. Она-то и стоила Писареву почти пяти лѣтъ одиночнаго заключенія въ крѣпости, такъ какъ черезъ нѣсколько-же дней Баллодъ былъ арестованъ, а затѣмъ по найденнымъ слѣдамъ—и Писаревъ.

VIII.

Въ крѣпости. — Письма къ матери.

Во время пяти-лѣтняго заключенія въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа,

Перечтите такія статьи, какъ «Наша университетская наука», «Реалисты», «Романъ кисейной барышни», «Промахи незрѣлой мысли»— гдѣ-же тутъ хотя-бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ-ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность положенія — самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ — не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той-же работой, съ такими-же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ «Русскомъ Словѣ».

Кромѣ умственной энергіи и нравственнаго мужества, письма его къ матери за это время дышатъ особенной любовью и нѣжностью. Тонъ ихъ обыкновенно шутливый, но сколько ласковой почтительности, сколько сердечной мягкости въ этой грудѣ исписанныхъ мелкимъ бисернымъ почеркомъ листовъ почтовой бумаги! Не мать утѣшаетъ его, онъ утѣшаетъ мать, рисуетъ ей постоянно перспективу будущей совмѣстной, счастливой жизни, то и дѣло спрашиваетъ о ея здоровьѣ, слѣдитъ за занятіями и развитіемъ двухъ младшихъ своихъ сестеръ и, нисколько не отказываясь отъ прежнихъ своихъ взглядовъ, находитъ въ себѣ столько душевной теплоты и мягкости, что облекаетъ ихъ въ самую привлекательную, исполненную глубокаго чувства и серьознаго убѣжденія, форму.

Такъ — тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Булатъ оказался лучшаго качества, ибо какъ иначе объяснить, что мысль Писарева среди четырехъ стѣнъ каземата не утеряла даже своей яркости и художественности? Не было ни внѣшнихъ впечатлѣній, не было слышно даже голоса человѣческаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ изъ-за могилъ, впродолженіи цѣлыхъ пяти лѣтъ, раздавалась полная силы и мужества рѣчь, облетавшая всю Россію и встрѣчавшаяся вездѣ съ восторгомъ,—рѣчь, призывавшая людей къ живой работѣ и живому наслажденію.

Но тонъ писаревскихъ писемъ краснорѣчивѣе всякихъ словъ, почему и привожу отрывки:

«На счетъ моего здоровья, ты (т. е. мать) съ Вѣрочкою можете быть совершенно спокойны. Я чувствую себя хорошо, сегодня ровно двѣ недѣли съ тѣхъ поръ, какъ я въ крѣпости, а между тѣмъ меланхолія, которой ты такъ боялась, не показывается.»

Писаревъ вообще въ каждомъ письмѣ увѣряетъ родныхъ, что ему хорошо, «очень даже хорошо». Приведенный отрывокъ написанъ 17-го іюля 62-го года, а вотъ изъ письма отъ 15-го сентября 63-го года.

«Жизнь моя, которую такъ разнообразили впродолженіи 4-хъ мѣсяцевъ свиданія съ вами, опять покатилась своимъ ровнымъ теченіемъ, опять я ничего не ожидаю, живу себѣ съ минуты на минуту и опять замѣчаю, что время идетъ особенно скоро, и опять радуюсь, потому что дни опять такъ быстро уходятъ за днями. Къ уединенію и къ моему правильному образу жизни я такъ привыкъ, что мнѣ и въ голову не приходитъ, что-бы этими вещами можно было тяготиться. Я не думаю, чтобы я, подобно Шильонскому узнику, вздохнулъ когда-нибудь о моей тюрьмѣ, но я совершенно увѣренъ въ томъ, что всегда буду вспоминать о времени моего заключенія съ самою добродушною улыбкой. Мнѣ даже иногда становится смѣшно смотрѣть на себя: какой я кроткій агнецъ и какъ я со всѣмъ примиряюсь, и какъ я всѣмъ остаюсь доволенъ!—Со стороны смотрѣть, должно быть, еще смѣшнѣе, но мнѣ, отъ кротости моей, очень хорошо; эта кротость похожа на пуховикъ, который предохраняетъ меня отъ боли при каждомъ паденіи. Вотъ ты читаешь теперь мое письмо, другъ мой, мама, и пожимаешь плечами, а Вѣрочка читаетъ и сердится на меня и говоритъ: какъ это ему (т. е. мнѣ) не надоѣстъ все разбирать и хвалить себя и все съ одной и той-же стороны. А что дѣлаетъ и говоритъ въ это время папаша? Впрочемъ папашу я такъ давно не видалъ, что даже приблизительно не могу себѣ представить, какое впечатлѣніе производитъ на него моя болтовня. Но вы ею не раздражайтесь.»

Писаревъ старается даже увѣрить себя и другихъ, что пребываніе въ крѣпости ничего кромѣ пользы ему не приноситъ и принести не можетъ.

«Оглядываясь назадъ на прошедшій годъ, двадцать третій годъ моей жизни, я вижу, что онъ проведенъ гораздо благопріятнѣе, чѣмъ напр. двадцать второй. Правда, что въ моемъ положеніи мудрено дѣлать какія-бы то ни было глупости, но такъ или иначе, по той или другой причинѣ, а все-таки этотъ годъ прошелъ безъ глупостей, чего никакъ нельзя сказать о его предшественникѣ. Если-бы я былъ на свободѣ, то могу себѣ представить, сколько-бы я надѣлалъ карточныхъ долговъ, сколько-бы я тратилъ силъ на безпорядочныя

удовольствія. Теперь всѣ силы, которыя потратились-бы въ этомъ году, оказываются сбереженными, а это увеличиваетъ тотъ капиталъ, съ котораго придется брать проценты втеченіи всей остальной жизни. Я очень расточителенъ въ отношеніи къ деньгамъ, потому что деньги составляютъ для меня только проценты, но я очень скупъ на капиталъ; т. е. нельзя сказать, чтобы я иногда не пускалъ на вѣтеръ кусочекъ капитала, но повѣришь-ли, мнѣ всегда было жалко и очень тяжело послѣ того, какъ я поступалъ такимъ образомъ. Какъ только проведу безсонную ночь за картами, такъ и начинаю смотрѣть на себя въ зеркало и соболѣзновать о томъ, что лицо осунулось, глаза потускнѣли, значитъ частица силъ израсходована. Ты, какъ человѣкъ благоразумный, спросишь конечно, зачѣмъ-же было глупости дѣлать? На это отвѣчать нечего: слабъ человѣкъ и ни въ чемъ не знаетъ мѣры. Поэтому-то я и радъ, что обстоятельства взялись пріучать меня къ правильному образу жизни и сберегутъ для меня на будущее тѣ силы, которыя я, живя на всей своей волѣ, непремѣнно разбросалъ-бы по сторонамъ, и жалѣлъ-бы, и плакалъ-бы, а все-таки бросалъ. Буду-ли я поступать благоразумнѣе впослѣдствіи?—мнѣ кажется «да»! У меня во многихъ отношеніяхъ расширились и прояснились понятія, а это не можетъ оставаться безъ вліянія на весь образъ дѣйствій. Во-первыхъ, я самъ по себѣ возмужалъ, а во-вторыхъ, долговременное уединеніе подѣйствовало на меня очень хорошо. Уединеніемъ лечатъ нѣкоторые виды сумасшествія, въ томъ числѣ и меланхолію, но уединеніе бываетъ полезно не для однихъ сумасшедшихъ; отъ него выигрываютъ часто люди совершенно здравомыслящіе. Становишься спокойнѣе, выучиваешься сосредоточивать свои мысли и вслѣдствіе этого начинаешь думать успѣшнѣе прежняго. Соображая всѣ эти обстоятельства, я нахожу, что мой 23-й годъ жизни проведенъ какъ нельзя лучше: онъ могъ-бы быть проведенъ пріятнѣе — это правда, но пріятныя ощущенія въ прошедшемъ такъ-же интересны, какъ хорошій обѣдъ, съѣденный недѣлю тому назадъ. Мало-ли что было, да прошло. Прошедшее интересно для меня настолько, насколько оно оставляетъ что-нибудь для настоящаго и будущаго, т. е. насколько оно увеличиваетъ капиталъ, съ котораго мы беремъ проценты. А въ этомъ отношеніи послѣдній годъ сдѣлалъ свое дѣло, какъ слѣдуетъ, и потому я имъ совершенно доволенъ. Къ начинающемуся году (24-му) моей жизни я подхожу съ особеннымъ любопытствомъ, гдѣ и какимъ образомъ придется провести его. Вопросъ этотъ не лишенъ занимательности, но могу сказать, положа руку на сердце, что задаю его себѣ безъ малѣйшаго волненія. Къ живому любопытству не примѣшиваются ни мечтательныя надежды, ни мрачныя опасенія, нѣтъ и такого равнодушія, которое было-бы похоже на апатію. Просто любопытно слѣдить за событіями собственной жизни... Иногда кажется, что романъ растянутъ и что событія слишкомъ медленно развиваются, но такъ какъ знаешь, что нетерпѣніе ни къ чему не ведетъ, то очень скоро миришься съ этимъ. Все это время я чувствовалъ себя такъ хорошо, что продолжается и теперь, такъ что

даже осень не раздражаетъ меня, несмотря на то, что я терпѣть не могу этого времени года»...

Въ этомъ-же письмѣ есть кое-что о Раисѣ:

«Кстати — получаешь-ли ты извѣстія о Раисѣ? Если получаешь, сообщи мнѣ, что знаешь о ней, а если не получаешь, то пожалуйста постарайся получить. Меня очень интересуетъ все, что касается до нея... Я думаю о ней часто, иногда съ досадою, иногда съ грустью, иногда съ добрымъ чувствомъ и съ сильнымъ желаніемъ увидѣть ее... Когда я говорю о своей грусти, то ты при этомъ должна имѣть въ виду, что для меня всякая грусть несравненно легче насморка и вообще моя грусть похожа на то чувство, которое въ другихъ людяхъ возбуждается какимъ-нибудь трогательнымъ романомъ. Но какъ-бы то ни было, мнѣ-бы хотѣлось знать, что съ нею дѣлается, и ты, другъ мой maman, сдѣлаешь мнѣ большое одолженіе если сообщишь что-нибудь о ней».

Обыкновенный припѣвъ, которымъ заканчиваетъ Писаревъ свои письма, таковъ: «Что мнѣ дѣлается! — по обыкновенію здоровъ и счастливъ».

Жажда жизни, дѣятельности не умолкаетъ въ немъ ни на минуту. То и дѣло строитъ онъ планы будущаго, т. е. будущихъ работъ. Подъ работой-же для себя онъ разумѣетъ понятно прежде всего литературу.

«Для меня,—пишетъ онъ,—журналистъ есть высшій идеалъ человѣка и благороднѣйшее существо. Я, какъ хорошій ремесленникъ, горжусь своимъ ремесломъ точно такъ-же, какъ имъ гордится въ Германіи каждый сапожникъ и булочникъ. Впрочемъ, если обстоятельства заставятъ отправиться въ мѣста отдаленнѣйшія и бросить журналистику, то и тутъ плакать нечего: куда-бы меня ни отправили, вѣдь дороги всюду есть, а средства на проѣздъ для тебя и Вѣрочки можно будетъ найти. Вѣдь я не безрукій и не безголовый человѣкъ. Работа найдется, а если будетъ работа, то средства будутъ. Неужели я только и способенъ быть, что литераторомъ? Въ случаѣ надобности, съумѣю быть и конторщикомъ, и домашнимъ учителемъ. Но, разумѣется, это лишь въ случаѣ безусловной крайности.»

«Журналистика—пишетъ онъ отъ 24 дек. 64 г.—мое призваніе. Это я твердо знаю. Написать въ мѣсяцъ отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ я могу незамѣтно и уже нисколько не утруждая себя; форма выраженія дается мнѣ теперь еще легче, чѣмъ прежде, но только я становлюсь строже и требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли, больше обдумываю, стараюсь яснѣе отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что пишу».

Съ особеннымъ наслажденіемъ строитъ Писаревъ планы своихъ будущихъ литературныхъ работъ.

«Мой взглядъ на вещи,—говоритъ онъ—и тотъ планъ, по которому я намѣренъ современемъ построить мою жизнь и дѣятельность, вы-

ясняются для меня съ каждымъ днемъ явственнѣе и отчетливѣе. Если мнѣ удастся выйти опять на ровную дорогу, т. е. жить въ Петербургѣ и писать въ журналѣ, то я навѣрное буду самымъ послѣдовательнымъ изъ русскихъ писателей и доведу свою идею до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня».

«Всѣ наши хорошіе писатели имѣли значительную слабость къ общимъ разсужденіямъ и высшимъ взглядамъ, и у меня есть эта слабость, хоть я еще и не считаю себя хорошимъ писателемъ; но я понимаю, несмотря на эту слабость, что общія разсужденія и высшіе взгляды составляютъ совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому недостаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ. Во-первыхъ, я пишу, какъ тебѣ извѣстно, чрезвычайно быстро; во-вторыхъ, я пишу весело и занимательно; въ-третьихъ, я усваиваю себѣ очень легко чужія мысли, такъ что могу передавать ихъ совершенно понятнымъ образомъ; и, наконецъ, въ-четвертыхъ, я одержимъ страстною охотою читать. Всѣ эти свойства до сихъ поръ все еще растутъ и развиваются во мнѣ, такъ что каждая новая статья моя выходитъ живѣе и пишется легче, чѣмъ предыдущая. При такихъ условіяхъ, я, ни мало не утомляя себя, могу писать по 50 листовъ въ годъ, т. е. по 800 страницъ. Стоитъ только выбирать тщательно сюжетъ статей, и такимъ образомъ публика ежегодно будетъ получать цѣлую массу знаній по самымъ разнороднымъ предметамъ. Припомни теперь, сколько пользы принесъ Бѣлинскій, и сообрази, что Бѣлинскій ограничивается почти исключительно областью литературной критики; кромѣ того Бѣлинскій былъ человѣкъ больной и раздражительный, что непремѣнно мѣшало ясности и послѣдовательности работы. Принявши все это въ разсчетъ, ты поймешь, сколько настоящей пользы могу принести я при моемъ порядочномъ здоровьѣ, при моей способности писать, не раздражаясь, при моей ненависти къ фразамъ и при моемъ постоянномъ стремленіи доказывать и объяснять, придерживаясь метода опытныхъ наукъ...»

«Умственный» демократизмъ Писарева очевидно развивался. Мало того—онъ нашелъ себѣ великое основаніе въ чувствѣ любви къ ближнему:

«Теперь къ моему характеру—пишетъ онъ 17 янв. 1865 года—присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. *Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла.* Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе; мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой чело-

вѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ-бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ.

«Это навѣрное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства»...

Послѣ этихъ теплыхъ, истинно-писательскихъ словъ Писаревъ возвращается къ своей мечтѣ быть распространителемъ дѣльныхъ знаній среди публики. Онъ самъ для этого хочетъ учиться и учиться:

«Я съ самаго начала такъ повелъ свою жизнь, что мнѣ неудобно приниматься теперь самому за микроскопы и за анатомическій ножъ, но я перечитаю все, что есть замѣчательнаго по естествознанію, и, какъ диллетантъ, принесу много пользы распространеніемъ дѣльныхъ свѣдѣній посредствомъ журнальныхъ статей».

Этому идеалу тихой труженической жизни Писаревъ подыскиваетъ такую-же тихую семейную обстановку:

«Литературныя занятія—пишетъ онъ матери—въ настоящее время не только могутъ прокормить человѣка, но даже могутъ составить ему обезпеченное состояніе. А я нахожусь въ особенно выгодномъ положеніи, потому что я первый содѣйствовалъ успѣху „Русскаго Слова“ въ то время, когда еще этотъ журналъ былъ совершенно неизвѣстенъ. Издатель его въ твоемъ присутствіи предлагалъ взять меня въ долю, какъ только журналъ будетъ приносить барышъ *)... Все это я говорю для того, чтобы ты не осмѣлилась думать, что я, женившись, не буду въ состояніи осуществить нашихъ общихъ и самыхъ задушевныхъ мечтаній о глубокой комнатѣ и о томъ большомъ креслѣ (напротивъ письменнаго стола), на которомъ будетъ сидѣть мамаша со свойственною ей важностью на лицѣ, съ разными спицами и вязаньями въ рукахъ и постоянною улыбкою на губахъ. Глубокая комната, большое кресло и всѣ аксессуары составляютъ самое основаніе моихъ плановъ о женитьбѣ. Это только одна изъ принадлежностей, какая можетъ быть и не быть, смотря по обстоятельствамъ. Но мнѣ кажется, что женитьба составляетъ для меня чистый разсчетъ, это вѣрное средство совершенно остепениться, сидѣть дома, много работать и отдыхать такъ, чтобы отдыхъ дѣйствительно освѣжалъ голову, вмѣсто того, чтобы еще болѣе отуманивать ее... Я не желалъ-бы во второй разъ сдѣлать любовь къ женщинѣ высшимъ интересомъ моей жизни, но я думаю, что этого боль-

*) Одно изъ bon-mots Благосвѣтлова, которому Писаревъ по своей наивности вѣрилъ.

ше со мною и не случится. Но я знаю, что я способенъ быть очень хорошимъ мужемъ, т. е. я буду постоянно любить и уважать ту женщину, какая согласится быть моею женой и съумѣетъ хоть немного понять и полюбить меня. Ты знаешь, что я не требователенъ въ отношеніи къ моимъ друзьямъ и что со мной почти невозможно поссориться. Представь себѣ эти свойства моего характера въ семейной жизни и ты увидишь, что будущая жена моя будетъ очень счастливою женщиною. Если-бы даже она стала требовать отъ меня безусловной супружеской вѣрности, то и съ этой стороны я-бы вполнѣ удовлетворилъ ее, а по той простой причинѣ, что мнѣ нѣкогда было-бы измѣнять...»

Надо замѣтить, что, сидя въ крѣпости, Писаревъ вообще довольно старательно обсуждалъ матримоніальные проэкты. Тишина и уныніе каземата много способствовали этому обстоятельству. У насъ сохранилось даже нѣсколько писемъ его къ нѣкоей Лидіи Осиповнѣ, дѣвушкѣ, Писареву совершенно незнакомой, о которой онъ зналъ лишь изъ писемъ сестры и матери. Съ своей обычной поразительной наивностью Писаревъ предлагаетъ Лидіи Осиповнѣ руку и сердце, такъ сказать, заочно и покорнѣйше проситъ подождать его освобожденія. Ничего особенно страннаго въ этомъ обстоятельствѣ нѣтъ, такъ какъ казематъ несомнѣнно развилъ въ Писаревѣ нѣкоторую мечтательность, и мысль его сосредоточилась возлѣ бѣлокурой головки Лидіи Осиповны, тѣмъ болѣе, что мать и сестра въ каждомъ письмѣ своемъ напоминали ему о ней. Но эти мечты разлетѣлись, какъ дымъ, послѣ того какъ Раиса, вернувшаяся въ Петербургъ, пожелала свидѣться съ своимъ «хроническимъ женихомъ». Старая страсть вспыхнула. и при томъ въ такой необузданной формѣ, что Раиса испугалась—хотя она была дамой нетрусливаго десятка—и поспѣшила заявить, что какъ прежде, такъ и теперь, никакой надежды нѣтъ. Писаревъ отвѣчалъ ей на это письмомъ—однимъ изъ тѣхъ писемъ, въ которыхъ онъ съ такою яркостью умѣлъ характеризовать свое настроеніе.

«Mia cara! Въ твоемъ послѣднемъ письмѣ ты очень остроумно сражаешься съ вѣтряными мельницами; никакого хроническаго жениха тебѣ не предстоитъ, и, чтобы совершенно успокоить тебя, даю тебѣ конституціонную хартію нашихъ будущихъ отношеній. Когда я буду вполнѣ располагать своими поступками, тогда я предложу тебѣ письменно вопросъ: «желаешь ли ты меня видѣть или нѣтъ?» и если ты не отвѣтишь мнѣ просто и ясно, что «желаю», то и не увидишь меня. Если намъ придется увидѣться, то разумѣется о любви съ моей стороны не будетъ и слова до тѣхъ поръ, пока ты сама этого не пожелаешь. На безбрачіе я себя не обрекаю, но намѣренъ жениться только тогда, когда совершенно ошалѣю отъ любви

къ какому-нибудь субъекту, но теперь мнѣ этими пустяками заниматься некогда, во 1-хъ, потому что я—казенная собственность, во 2-хъ, потому что намъ даютъ карательную цензуру, которая наполняетъ теперь всѣ мои помыслы. Вообще-же я думаю, что жизнь велика и что много чудныхъ перловъ скрыто въ ея глубинѣ. Попользоваться этими перлами я вовсе не прочь, но отыскивать ихъ не намѣренъ, потому что надо работать, а не шелопайствовать. Когда-же нѣкій перлъ самъ влѣзетъ мнѣ въ руки, я его не выпущу. Довольны-ли вы этимъ, злобствующая лэди Макбетъ и свирѣпая разрушительница вѣтряныхъ мельницъ? Если довольны, то не смѣйте говорить, что я добиваюсь пріятельскихъ отношеній съ вами. Я другъ вашего дѣтства и потому добиваться какихъ-то пріятельскихъ отношеній мнѣ совсѣмъ не къ лицу. Кромѣ того я ничего не намѣренъ отъ тебя добиваться. Довольно я поползалъ передъ тобой на колѣняхъ; наконецъ-то мнѣ это глупое занятіе надоѣло и съ этой минуты я поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь во весь ростъ. Любить я тебя вѣроятно буду всегда, но добиваться—баста. Что дашь—спасибо, а просить не желаю... До свиданья»...

И это письмо дышетъ той-же энергіей и бодростью убѣжденнаго работника. Но разумѣется минуты унынія находили и на Писарева, хотя онъ лишь вскользь и какъ-то неохотно упоминаетъ о нихъ.

«Я—пишетъ онъ—человѣкъ полный жизни; мнѣ необходимо, чтобы жизнь затрогивала меня съ разныхъ сторонъ, а между тѣмъ жизнь моя полтора года тому назадъ остановилась и замерзла въ одномъ положеніи. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни былъ для меня новымъ и очень сильнымъ впечатлѣніемъ, но теперь я уже извлекъ изъ этого новаго положенія все, что можно было извлечь. Я развился и окрѣпъ въ моемъ уединеніи, и теперь я чувствую, что мнѣ было-бы очень полезно и пріятно перейти въ какую нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одномъ мѣстѣ и потому буду чрезвычайно радъ, когда меня куда нибудь сдвинутъ. Куда—я объ этомъ не спрашиваю. Я ко всему съумѣю привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойнымъ и довольнымъ.»

18 ноября 1866 г. Писаревъ былъ освобожденъ, просидѣвши въ крѣпости 4 года 4 мѣсяца и 15 дней. Ко времени пребыванія Писарева въ крѣпости относится небольшое воспоминаніе Н. Шелгунова, которымъ я и позволю себѣ закончить эту главу: «Въ 1863 г. разсказываетъ Н. Шелгуновъ, когда я находился въ алексѣевскомъ равелинѣ, я узналъ отъ Палисадова (бывшаго тогда протоіереемъ Петропавловскаго собора), что Писаревъ находится тоже въ заключеніи. И къ Писареву, и ко мнѣ отецъ Палисадовъ проявлялъ большое вниманіе и часто къ намъ заходилъ. Писаревъ не довѣрялъ Палисадову и приписывалъ его посѣщенія причинамъ, которыхъ нельзя было-бы оправдать, если-бы Писаревъ не ошибался. Пали-

садовъ былъ въ этомъ отношеніи внѣ всякихъ подозрѣній и держалъ себя умно, съ тактомъ и осторожно. По крайней мѣрѣ такимъ я его помню. Отъ Палисадова я зналъ, что Писаревъ находился постоянно въ сильно возбужденномъ состояніи. Былъ даже такой случай. Раздражившись на Палисадова, Писаревъ выгналъ его изъ своей камеры и бросилъ за нимъ по корридору книгой. Палисадовъ отзывался о Писаревѣ съ глубокимъ уваженіемъ и сочувствіемъ и видимо старался облегчить ему его одиночество, за что ему, разумѣется, большое спасибо.

IX.

Міросозерцаніе Писарева. — Эмансипація личности. — Утилитаризмъ. — «Реалисты». — Принципъ экономіи силъ. — Любовь, трудъ, знаніе. — Разладъ съ «Современникомъ». — Отношеніе Писарева къ народу. — Педагогическіе взгляды Писарева.

Выступая сотрудникомъ «Русскаго Слова», Писаревъ былъ твердо убѣжденъ лишь въ одномъ догматѣ будущаго своего міросозерцанія. Этимъ догматомъ была эмансипація личности путемъ настойчивой работы ума и критической мысли. Несмотря ни на что, ни на семейныя связи, ни на общественные приличія и обычаи, ни на предразсудки, которые быть можетъ и даже навѣрное дороги ей, какъ воспоминанія дѣтства, какъ совѣтъ и убѣжденія близкихъ людей, личность должна выработать свою собственную свободу и самостоятельность, свою физіономію и смѣло предстать съ нею передъ лицомъ всего міра. На что-же можетъ опереться эта эмансипированная личность? Такъ или иначе ей придется утерять многое, что прежде поддерживало ее,—утерять наивность своихъ вѣрованій, такъ содѣйствующихъ спокойствію духа, утерять привязанность и выйти изъ теплаго дома традиціи, приличій, повиновенія—на бурю и непогоду самостоятельной жизни. Для такого подвига нуженъ стимулъ, нуженъ мотивъ достаточно сильный, чтобы предпочесть свободу и одиночество, борьбу и усилія уютной обстановкѣ родительскаго и прародительскаго дома. Гдѣ-же найти этотъ стимулъ? Писаревъ отвѣчаетъ на это очень обстоятельно:

Въ работѣ критической мысли.

Въ наслажденіи самостоятельности.

Въ наслажденіи развитія.

«Всѣ ищутъ счастья, но истинное счастье человѣкъ можетъ найти лишь тогда, когда станетъ самимъ собой, когда найдетъ возможность свободно проявлять свои мысли и чувства и опредѣлитъ влеченія своей природы».

Стимуломъ является счастье, наслажденіе. Но *какое* счастье, *какое* наслажденіе? На этотъ пунктъ писаревской доктрины до сихъ поръ не достаточно обращали вниманія. Правда, философски онъ не разработалъ его и, какъ въ большей части случаевъ, говорилъ отъ себя, опираясь на собственный личный опытъ. Разумѣется онъ началъ съ самаго элементарнаго и энергично включалъ въ область наслажденія все, что доставляетъ человѣку пріятныя эмоціи, все что неотразимо влечетъ его къ себѣ, все, чѣмъ обладаніе доставляетъ физическое или нравственное удовлетвореніе. «Fais ce que voudras» — говорилъ онъ въ сущности и лишь въ свободѣ другихъ видѣлъ ограниченіе личности. Замѣтимъ кстати, что въ этомъ періодѣ наиболѣе истиннымъ опредѣленіемъ государства онъ считалъ «охранительное учрежденіе, избавляющее отдѣльную личность отъ оскорбленій и нападокъ со стороны внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ».

«Будь самимъ собою», живи въ собственное свое удовольствіе и не обращай вниманія на то, что говоритъ о тебѣ общество.

«Тѣ условія,—пишетъ Писаревъ,—при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ. Это возможно, такъ какъ если вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукой на пресловутое общественное мнѣніе, какое слагается у насъ изъ очень неблаговидныхъ матеріаловъ, то васъ право скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подивятся, или даже ужаснутся, но потомъ, видя, что вы не обращаете вниманія и что эксцентричности ваши идутъ своимъ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься»...

Передъ личностью открываются завлекательныя перспективы, она можетъ любить, вѣрить, ненавидѣть, страдать и наслаждаться не съ чужого голоса, не съ точки зрѣнія общепринятаго и общепризнаннаго, а опираясь на истинный источникъ всякой радости и счастья—на влеченія собственной натуры. Осуществится, скажемъ мы отъ себя, тотъ идеалъ, о которомъ когда-то мечтали Эпикуръ, Раблэ, Фурье, Морелли, изъ жизни исчезнетъ идея и обязательства, такъ какъ нѣтъ истины въ нихъ, такъ какъ, ломая себя, подчиняя свое влеченіе внѣшнему началу, человѣкъ по необходимости

лжетъ передъ великимъ судьей — своей природой, своей неотразимой потребностью свободно любить, свободно вѣрить.

«Человѣкъ, говоритъ Писаревъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствуетъ свое «я» и отдѣлитъ себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи; когда она глубоко проникнетъ въ сознаніе каждаго взрослаго недѣлимаго, всякое принужденіе, всякое насилованіе воли ребенка, всякая ломка его характера сдѣлаются невозможными, мы поймемъ тогда, что формировать характеръ ребенка — нелѣпая претензія; мы поймемъ, что дѣло воспитателя заботиться о матеріальной безопасности ребенка и доставлять его мысли матеріалы для переработки; кто старается сдѣлать больше, тотъ посягаетъ на чужую свободу и воздвигаетъ на чужой землѣ зданіе, которое хозяинъ непремѣнно разрушитъ, какъ только вступитъ во владѣніе. Когда мы поймемъ все это? не знаю»...

Тотъ-же вопросъ Писаревъ смѣло могъ-бы повторить и въ настоящее время. Цѣнность ярко выраженной индивидуальности понимаютъ отдѣльныя единицы; громадное-же большинство торопится слиться съ массовымъ началомъ и дурно-ли хорошо провести жизнь подъ его прикрытіемъ. Оставляя въ сторонѣ причины мы можемъ признать, что однимъ изъ самыхъ яркихъ явленій въ жизни личности нашихъ дней является боязнь самой себѣ, иногда совершенно основательный, а подчасъ и совершенно ребяческій страхъ передъ своей мыслью, своей вѣрой и убѣжденіемъ, даже любовью. Обращусь для подкрѣпленія своего взгляда къ Глѣбу Успенскаго. Всякій знаетъ, что этотъ талантливый писатель далеко не въ восторгѣ отъ современности и постоянно жалуется на нее. Онъ жалуется на многое, но среди его жалобъ особенно рѣзко и настойчиво звучитъ одна — это жалоба на обездушеніе, на обезличенія, какъ на главнѣйшій результатъ воздѣйствія нашей жизни на человѣка. Въ какихъ комическихъ по формѣ и грустныхъ по существу проявляется порою у героевъ Успенскаго желанія быть *собою,* хоть что нибудь сдѣлать по своему, хоть чѣмъ нибудь да проявить *себя.* Припомните напр. мѣщанина, убѣжавшаго на берегъ рѣки отъ самодурства «мамынки». «Мѣщанинъ снялъ сапогъ, сталъ его разсматривать, стучать по немъ кулакомъ и бормотать: «что-же... Ничего! Возьму вотъ сыму... сапогъ...д-да! а потомъ надѣну... Ничего? И другой сыму... И над-дѣну... И преотлично! Плевать мнѣ на»... Бѣдняга утѣшается своей свободой въ дѣлѣ надѣванія и сыманія сапога, а любви своей не съумѣлъ и не смѣлъ отстоять! Припомните лѣнтяя того-же Успенскаго къ которому, еще совсѣмъ мальчику, шло столько бородатаго народа, по-

тому, что у мальчика было что-то *свое* за душой... Но вотъ мѣсто гдѣ Успенскій словами старика изъ «Заячьей совѣсти» особенно полно высказываетъ свои мысли: «Сердца въ людяхъ нѣтъ—сказалъ старикъ—вотъ нынѣшнее поколѣніе. Можетъ-ли онъ быть гнѣвенъ или можетъ быть онъ добръ?.. Нѣту!.. Плюнь ему въ рожу—у него рука не осмѣлится на оплеуху... Понадѣйся на него—не выручитъ»... Но хорошо-ли по крайней мѣрѣ самому этому обездушенному герою современности?—можетъ-ли онъ по крайней мѣрѣ для себя разсчитывать на здоровую человѣческую жизнь? «Нѣтъ, ангелъ мой, продолжаетъ тотъ-же старикъ, не получишь ты развлеченія настоящаго, потому что сердце твое неправильное; направленіе то въ немъ заячье... Оно говоритъ: «жалѣй»—а ты боишься,—оно говоритъ: «не стерпи, возопи»—а ты опять боишься, ну и стало-быть неопрятно у тебя на сердцѣ то... И идетъ по землѣ не жизнь а такъ гниле грибное.

Впрочемъ, увеличивать цитаты изъ Успенскаго безполезно; ежеминутно возвращается онъ къ своей излюбленной мысли ежеминутно скорбитъ, что человѣка-то въ жизни нѣтъ. Таже тоска о человѣкѣ—сущность поэзіи Гаршина, источникъ негодованія Щедрина. И вѣдь на самомъ дѣлѣ есть о чемъ тосковать, изъ за чего негодовать. Съ заячьей душой, съ боязнью самого себя, своего чувства и мысли не уйдетъ далеко никто. Его наука — разъ онъ человѣкъ науки—не двинется за цитаты изъ первоисточниковъ и установленіе хронологическихъ датъ;—его искусство ограничится «реалистическимъ» изображеніемъ телеграфныхъ столбовъ, его любовь изчезнетъ и расплывется въ страхѣ передъ семьей и семейными заботами, его дружба не выдержитъ ни одного испытанія—да и способенъ-ли онъ еще на настоящую любовь и дружбу, вмѣсто которыхъ давно уже изобрѣтено столько развратныхъ фальсификацій... Человѣкомъ будь! училъ Писаревъ... Какъ сдѣлаться имъ?—спрашиваемъ мы...

Итакъ, прежде всего передъ нами: 1) *Идея эмансипаціи личности.*

Переходимъ къ другой: 2) *Идея утилитаризма*, за которую, кстати замѣтить, Писареву достается теперь больше, чѣмъ за что нибудь другое. Откуда появилась она у него?

«Вѣдь если-бы,—говоритъ А. М. Скабичевскій,—Писаревъ захотѣлъ проводить свою теорію до конца и быть послѣдовательнымъ ей, то онъ долженъ-бы оправдать и чистое искусство, у научное педантство, противъ которыхъ въ то время самъ ратовалъ... Это бу

показывать только, что у одного одни естественныя влеченія, у другого—другія, у третьяго—третьи»...

Разумѣется, такъ оно и должно-бы случиться, но Писаревъ очень скоро сталъ самымъ горячимъ и убѣжденнымъ пропагандистомъ идеи пользы. Первое время онъ хваталъ даже черезъ край въ этомъ отношеніи, въ чемъ и отдаемъ ему полную справедливость. Многое, очень многое потянуло Писарева къ «пользѣ», т. е. самой презрѣнной пользѣ, которая, по мнѣнію одного современнаго молодого писателя, «омрачила столько умовъ». Омрачился ею и Писаревъ. Прежде всего, надо замѣтить, что, начавши работать въ «Русскомъ Словѣ», онъ попалъ въ компанію искреннихъ утилитаріанцевъ, какъ напр. Зайцева, Соколова и т. д. Plus royalistes que le roi, эти господа носились съ «пользой», какъ съ писаной торбой, ежеминутно утрируя вполнѣ вѣрную идею Милля. Но Писаревъ пошелъ и въ этомъ случаѣ своей дорогой, и если утилитаріанцы «Русскаго Слова» оказывали на него вліяніе, то развѣ на первыхъ порахъ. Затѣмъ онъ несомнѣнно ознакомился за это время съ произведеніями Добролюбова и Чернышевскаго, которыхъ раньше онъ зналъ только по наслышкѣ. Уже во второй половинѣ своей статьи «Схоластика XIX вѣка» Писаревъ очень почтительно отзывается о Чернышевскомъ, а впослѣдствіи написалъ о его произведеніяхъ двѣ глубоко сочувственныя статьи: «Мыслящій пролетаріатъ» и «Разрушеніе эстетики».

Мнѣ кажется, что и самая журнальная работа должна была приблизить Писарева къ точкѣ зрѣнія «общеполезнаго», хотя на первыхъ порахъ онъ и открещивался отъ нея, если не въ статьяхъ, то по крайней мѣрѣ въ разговорахъ и письмахъ. Еще въ 61 и 62-мъ годахъ Писаревъ откровенно изъяснялъ, что гражданскіе подвиги и идея добра, «пользы» его рѣшительно не вдохновляютъ. Почему?—по той простой причинѣ, что гражданскіе подвиги и служеніе идеѣ добра, разъ нѣтъ къ тому спеціальнаго влеченія природы, являются своего рода рабствомъ, по меньшей мѣрѣ крѣпостнымъ состояніемъ.

Но Писаревъ принялся за постоянное сотрудничество и видѣлъ, что статьи его пользуются успѣхомъ. Какъ-же смотрѣть на литературную дѣятельность и на назначеніе литературы? Вотъ этотъ вопросъ долженъ былъ встать передъ его яснымъ и проницательнымъ умомъ во всей своей наготѣ и откровенности. Другое дѣло, будь у него и художественный талантъ, онъ бы могъ еще спрятаться за

ширмы «творчества», «божественнаго глагола» и т. д. Но публицисту это сдѣлать совсѣмъ не легко. Натура-же прямо толкала Писарева на публицистическую дѣятельность. Одинъ, два опыта въ области беллетристики прекрасно доказали ему, что тутъ даже г-жа Попова — увы! уже забытая писательница душераздирательныхъ, преисполненныхъ гражданскою скорбью и «эмансипаціей женщинъ» повѣстей, — куда выше его, такъ какъ она все-же умѣла связать начало съ концомъ, запутать и распутать интригу и хотя и суздальскими штрихами, но все-же рисовала характеры. А Писаревъ этого не умѣлъ. Начатая имъ незадолго до поступленія въ больницу Штейна повѣсть благополучно прекратилась на третьей главѣ, такъ какъ Писаревъ никакъ не могъ выбраться изъ отвлеченныхъ разсужденій и «заставить своихъ персонажей ходить, сидѣть, цѣловаться». Умъ его былъ слишкомъ аналитическій, воображеніе— слишкомъ слабое. Публицистическая критика—вотъ его настоящее призваніе, но, спрашивается, что-же это за публицистъ, который-бы такъ или иначе, въ той или другой формѣ не держался идеи общественной пользы? Это что-то совершенно особенное, не сообразное, вродѣ художника, отрицающаго цвѣта и краски, или музыканта, не признающаго тона. «Литература полезна»—это Писаревъ твердо зналъ и твердо вѣрилъ, но разумѣется это ужъ его дѣло рѣшать, какъ и въ какомъ смыслѣ она можетъ быть полезной *).

Невозможно наконецъ предположить, чтобы такая чуткая и впечатлительная натура, какъ Писаревъ, проходила мимо очевидныхъ явленій своего времени съ равнодушіемъ глухо-нѣмого или заядлаго теоретика. Его упрекаютъ даже за излишнюю чуткость, и какъ-же могъ онъ не воспринять идеи общественной пользы, которая въ то время такимъ широкимъ потокомъ разлилась и по западной Европѣ, и у насъ! Время было горячее, особенно въ 61-мъ году, основа старо-русскаго быта, т. е. крѣпостное право, была наконецъ уничтожена. Случилось и еще нѣчто: русскимъ людямъ дали право свободно мыслить и разсуждать, съ большей или меньшей степенью свободы оцѣнивать достоинства и недостатки патріархальнаго быта, закабаленія женщинъ и т. д. Мысль встрепенулась, записали безчисленныя перья и стали перебирать всѣ стороны нашей

*) О назначеніи литературы Писаревъ высказался уже въ статьѣ „Схоластика“ и пр. См. выше.

жизни. Послѣ того какъ пало крѣпостное право, если не все то многое казалось возможнымъ, осуществимымъ, и настроеніе общества—по крайней мѣрѣ лучшихъ представителей—было глубоко-практическое, дѣйствующее.

Людей 60-хъ годовъ Шелгуновъ называетъ *идеалистами земли*. Этимъ онъ хочетъ сказать, что они горячо и страстно вѣрили, но вѣра ихъ не уходила за предѣлы небеснаго свода, а вращалась исключительно возлѣ человѣческаго счастья здѣсь на землѣ. Какъ-бы устроить человѣку хорошее и спокойное существованіе, какъ-бы обезпечить его мысль, достоинство, свободу отъ какихъ-бы то ни было случайностей, какъ-бы дать ему свободное время, чтобы онъ успѣвалъ и поучиться, и подумать... Люди увлекались этими вопросами, тратили на ихъ разрѣшеніе всѣ силы своихъ недюжинныхъ талантовъ...

Повторяю, идея общественной пользы—сама по себѣ обязательная для публициста—висѣла въ воздухѣ и проникала ту атмосферу, въ которой жилъ и дышалъ Писаревъ.

Совершенно естественно, что, какъ литераторъ и критикъ, онъ прежде всего приложилъ ее къ литературѣ и художественнымъ произведеніямъ. Отъ литературы онъ требовалъ, чтобы она, оставивъ высоты теорій и отвлеченности, спустилась на землю и принялась за просвѣщеніе публики общепонятнымъ языкомъ и на фактическомъ основаніи. Отъ художественнаго произведенія онъ требовалъ цѣннаго содержанія, которое могло-бы расширить кругозоръ читателя. Онъ—одно время по крайней мѣрѣ—вдавался въ крайность и доходилъ до отрицанія формы. Впрочемъ вотъ его подлинныя слова изъ статьи «Разрушеніе эстетики»:

«Содержаніе, достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто-бы оно — пустая забава». Цитируя эти слова Чернышевскаго, Писаревъ прибавляетъ отъ себя: «Что такое мыслящій человѣкъ? Что именно достойно вниманія мыслящаго человѣка? Эти вопросы опять-таки должны рѣшаться каждымъ отдѣльнымъ критикомъ. А между тѣмъ отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ приговоръ критика надъ художественнымъ произведеніемъ. Рѣшивши, что содержаніе неинтересно или, другими словами, недостойно вниманія мыслящаго человѣка, критикъ, основываясь на подлинныхъ словахъ автора «Эстетическихъ отношеній», имѣетъ полное право посмотрѣть на данное произведеніе съ презрѣніемъ или сострадательной улыбкой. Положимъ теперь, что одинъ критикъ посмотритъ на художе-

ственное произведеніе съ презрѣніемъ, а другой—съ восхищеніемъ. Столкнувшись такимъ образомъ въ своихъ сужденіяхъ, они затѣваютъ споръ. Одинъ говоритъ: содержаніе неинтересно и недостойно вниманія мыслящаго человѣка; другой говоритъ: интересно и достойно. Само собою понятно, что споръ между этими двумя критиками будетъ происходить совсѣмъ не на эстетической почвѣ, они будутъ спорить между собой о томъ, что такое мыслящій человѣкъ, что долженъ этотъ человѣкъ находить достойнымъ своего вниманія, какъ долженъ онъ смотрѣть на природу и общественную жизнь. Объ искусствѣ между ними не будетъ сказано *ни слова*, потому что смыслъ всего спора будетъ заключаться *въ содержаніи*, а не въ формѣ художественнаго произведенія.»

Крайности, до которыхъ Писаревъ одно время своей дѣятельности доводилъ эти взгляды, общеизвѣстны; слѣдовательно останавливаться на нихъ нечего. Гораздо любопытнѣе взглянуть на тотъ *синтезъ*, который онъ далъ двумъ краеугольнымъ идеямъ своего міросозерцанія, т. е. эмансипаціи личности и общественной пользы.

* * *

Статья Писарева «Нерѣшенный вопросъ» или «Реалисты», испытавшая на себѣ во время печатанія въ журналѣ нѣчто вродѣ «геологическаго переворота», представляетъ настоящее profession de foi—исповѣданіе вѣры. Она очень объемиста, около 150 страницъ убористой печати, въ смыслѣ же страстности и блеска изложенія можетъ быть причислена къ лучшимъ литературнымъ произведеніямъ публицистики. Съ содержаніемъ «Реалистовъ» намъ необходимо ознакомиться возможно подробнѣе, что впрочемъ совсѣмъ не скучно.

«Мнѣ кажется,—говоритъ Писаревъ,—что въ русскомъ обществѣ начинаетъ вырабатываться въ настоящее время совершенно самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполнѣ оригинально, но самостоятельность его заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества». Прежде было иначе: отцы и дѣды забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ и вольтерьянствомъ, мыслительная работа была нужна имъ отъ скуки, для ради препровожденія времени, но «мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ именно это, а не другое». У насъ есть дѣйствительныя потребности: «во-первыхъ мы бѣдны, а во-вторыхъ—глупы». Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія, а бѣдствія реальныя, и, чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къ живой, полезной дѣятель-

ности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ же и въ чемъ она, эта живая, полезная дѣятельность? «Во-первыхъ извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ рабочаго, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію... Во-вторыхъ можно дѣйствовать на непроизводящихъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ личностямъ, которыя желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью, т. е. они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу. Такая *экономія умственныхъ силъ* необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ, народамъ, потому что мы, въ сравненіи съ ними,—нищіе. Но, чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить и себѣ до послѣдней степени ясности, что́ полезно обществу и что́ безполезно. Экономія же умственныхъ силъ и есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ».

Какъ же, спрашивается, экономизировать свои силы? Нужно-ли для этого обратиться въ аскета и столпника, у котораго только одна мысль, одно настроеніе? Вся-ли личность принадлежитъ обществу, или же, завися отъ общества, будучи обязанной передъ нимъ, она все же имѣетъ право на самостоятельную жизнь, хотя бы часть этой жизни? «Мы — говоритъ Писаревъ — люди обыкновенные, и если

бы захотѣли выбросить изъ своей жизни чисто личное наслажденіе, то сдѣлали бы себя мучениками и кромѣ того повредили бы даже общему дѣлу; мы бы надорвались, мы бы отняли у себя возможность принести и ту малую долю пользы, которая соотвѣтствуетъ размѣрамъ нашихъ силъ; поэтому намъ не слѣдуетъ надуваться, потому что до вола мы все-таки не дорастемъ, а если лопнемъ, то вмѣсто экономіи окажется чистый убытокъ. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имѣетъ права посылать васъ на работу; общее дѣло человѣчества подвигается впередъ не барщинною работою, и сгонять на этотъ трудъ лѣнивыхъ или утомленныхъ людей— значитъ изображать суетливую муху, помогавшую лошадямъ втаскивать въ гору тяжелый рыдванъ... Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себѣ; когда вы работаете, вы принадлежите обществу... Если же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имѣетъ никакого значенія для него, тогда вы можете быть вполнѣ увѣрены, что вы совсѣмъ никогда не работаете и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему съ цвѣтка на цвѣтокъ. Мартышкинъ трудъ не есть работа».

Мнѣ думается, что физіономія писаревскихъ реалистовъ выяснилась здѣсь очень рѣзко. Дальше мы увидимъ ихъ отношеніе къ искусству, наукѣ, женщинамъ. Пока же остановимся на сказанномъ и поближе всмотримся въ дѣло. Оно этого заслуживаетъ.

Прежде всего несомнѣнно и очевидно, что если Писаревъ и утилитаристъ, то совершенно въ другомъ смыслѣ, въ какомъ считаемъ мы утилитаристомъ Милля. Это различіе необходимо имѣть въ виду. Милль требовалъ отъ нравственной личности общеполезной дѣятельности и, строго говоря, былъ склоненъ не обращать ни малѣйшаго вниманія на тѣ мотивы и побужденія, которые заставляютъ человѣка совершать общеполезную работу. Спасти утопающаго полезно и необходимо, но кому какое дѣло, во имя какихъ собственно соображеній бросился я въ рѣку? Быть можетъ меня охватила любовь къ ближнему, быть можетъ тутъ замѣшалось мое честолюбіе, и, какъ рыцарь, совершавшій геройскій поступокъ, я думалъ въ это время о своей дамѣ; а можетъ быть меня прельстила награда совсѣмъ уже матеріальная? Какой бы ни былъ мотивъ, я совершилъ нравственное дѣло, а сумма такихъ нравственныхъ дѣлъ дастъ мнѣ право назваться нравственною личностью, хотя быть можетъ въ глубинѣ души я нѣчто совсѣмъ другое. Словомъ, для утилитарной морали важенъ самый фактъ совершенія полезнаго дѣла.

Писаревъ пошелъ гораздо дальше, и пошелъ онъ дальше по той простой причинѣ, что рѣзко и энергично вышелъ изъ рамокъ морали и сталъ на другую, болѣе широкую точку зрѣнія.

Слова: «полезный поступокъ»—отличаются большой неопредѣленностью. Есть поступки болѣе полезные, менѣе полезные и даже совсѣмъ безполезные, которые однако принято считать полезными. Всякій вѣдь знаетъ, что существуетъ и мартышкинъ трудъ. И «можно сказать, что бóльшая часть мартышкина труда производится въ каждомъ человѣческомъ обществѣ по чистому недоразумѣнію. Трудящаяся личность въ большей части случаевъ добросовѣстно и искренне убѣждена въ томъ, что она трудится для человѣка и общества; это обаятельное убѣжденіе придаетъ ей бодрость и вдохновляетъ ее во время труда; если вы поколеблете въ ней это убѣжденіе, у нея опустятся руки и для нея настанетъ очень тягостная минута разочарованія и унынія; но за этою минутою явится сильное стремленіе къ настоящей пользѣ и крутой поворотъ къ какой нибудь другой дѣятельности, достойной мыслящаго человѣка и добросовѣстнаго гражданина. Въ результатѣ получится такимъ образомъ экономія умственныхъ силъ, и эта экономія будетъ гораздо болѣе значительна, чѣмъ это можетъ показаться читателю съ перваго взгляда».

Въ этой-то экономіи силъ и заключается, по моему, глубокое различіе Писарева отъ утилитаріанской морали во вкусѣ Милля. Представьте себѣ, что гдѣ-нибудь считается общеполезнымъ дѣломъ толочь воду въ ступѣ. Гражданинъ ничтоже сумняшеся предается этому прекрасному занятію и даже съ большимъ усердіемъ. Утилитаристъ, увидя такого гражданина, скажетъ ему: «вы нравственны и добродѣтельны, хотя нѣсколько глупы вѣроятно», и пожметъ ему руку. Писаревскій реалистъ отъ такого гражданина отвернется съ презрѣніемъ. Почему? По той простой причинѣ, что мало совершать общеполезное дѣло, а необходимо, чтобы общеполезное дѣло освѣщалось *критической* мыслью.

Пойдемъ однако дальше.

До мотива моральнаго акта утилитаристу, какъ мы видѣли, рѣшительно дѣла нѣтъ. Но реалисту дѣло есть. Прежде всего на сцену выступаетъ критическая мысль, которая уже сама по себѣ, говоря человѣку о томъ, чтó дѣйствительно полезно и чтó полезно лишь призрачно, — можетъ играть роль мотива. Но одного умственнаго

побужденія недостаточно; нужно нѣчто еще большее. Это большее выражается въ требованіи, чтобы «трудъ былъ живымъ наслажденіемъ для личности».

Надо замѣтить впрочемъ, что критической мысли и умственному обязательству Писаревъ придавалъ всегда громадное, почти первенствующее значеніе. Онъ думалъ, что человѣкъ, ясно понявшій, что такой-то путь правиленъ, не можетъ идти по другому. Въ этомъ онъ ошибался, но ошибался въ хорошую сторону, такъ какъ въ идеалѣ разумѣется такъ и должно быть, такъ и будетъ.

Однако онъ глубоко уважалъ природу человѣка, взятую во всей ея физіологической и психической полнотѣ. Онъ ненавидѣлъ всякую ломку, былъ противъ всякаго принужденія. Ломка и принужденія должны исходить изъ одного источника—ума, сознательнаго убѣжденія, и только. Поэтому мы постараемся убѣдить сейчасъ же читателя, что реалистическое міросозерцаніе Писарева укладывается въ двухъ слѣдующихъ формулахъ:

1) Обязанность критической мысли—опредѣлить, что́ дѣйствительно общеполезно и что́ полезно лишь въ смыслѣ мартышкина труда.

2) Обязанность мыслящаго человѣка совершать общеполезную работу, слѣдуя влеченію своей натуры, провѣренному и руководимому критической мыслью.

Писаревъ не только признаетъ права индивидуальности, но и относится къ нимъ съ величайшимъ уваженіемъ. Онъ требуетъ лишь того, чтобы индивидуальность была мыслящая и искренняя.

Соединяй пріятное съ полезнымъ.

Полезное Писаревъ понимаетъ въ смыслѣ общеполезнаго, пріятное—въ смыслѣ того, что соотвѣтствуетъ влеченію человѣческой природы, въ чемъ находитъ свое выраженіе ея творческая индивидуальность.

Быть можетъ это покажется страннымъ читателю, но все-же Писаревъ всего полнѣе свой взглядъ высказалъ въ отношеніи къ искусству. Позволю себѣ привести слѣдующія блестящія мѣста изъ его статей:

«Послѣдовательный реализмъ—говоритъ онъ — безусловно презираетъ все, что́ не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту «шей сапоги», или историку—«пеки пироги», но мы

требуемъ непремѣнно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили каждый въ своей спеціальности дѣйствительную пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны общественной жизни, которыя необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и успѣха отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширять пробѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозою, или стихами, и автору такой книги мы всегда съ искреннимъ доброжелательствомъ готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.»

Словомъ, будь поэтомъ, историкомъ, журналистомъ, пирожникомъ или сапожникомъ, только будь на своемъ мѣстѣ. Поэзія и исторія общеполезны, но горе тому, кто безъ права, обусловленнаго его дарованіями, его наклонностями, силой его мысли и наблюдательности, берется за это общеполезное дѣло. Въ такомъ случаѣ уже «горе ему, приносящему вредъ».

Помнитъ ли затѣмъ читатель слѣдующую блестящую характеристику поэта? Въ этой-же характеристикѣ заключается отвѣтъ на вопросъ, какъ можетъ быть поэтъ полезенъ.

„Самородки, подобные Борнсу и Кольцову,—пишетъ Писаревъ,—остаются навсегда блестящими, но безплодными явленіями. Истинный, полезный поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ людей его вѣка и его народа. Понимая вполнѣ глубокій смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій символъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе,—говоритъ Бёрне:—я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тотъ долженъ шить сапоги и печь кулебяки. Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ пи-

сателей, конечно не можетъ составлять исключенія изъ этого правила. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко-сознательно любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и ненависть были дѣйствительно чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдѣлано, когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крѣпкую связь между отдѣльными явленіями, когда понялъ, что надо и что можно дѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собой яснѣе и ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирающую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрятъ вдаль, на ту-же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродятъ ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути. Человѣкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не съумѣетъ и, что всего важнѣе, никогда не захочетъ возвратиться въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто понялъ и почувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ вольно или невольно въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду. Итакъ, по моему мнѣнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинами, какое вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ — великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», какъ говоритъ Гейне, или же поэтъ — ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ—титанъ, потрясающій горы, или поэтъ—козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина.»

Чѣмъ-то могучимъ и страстнымъ вѣетъ отъ этой патетической тирады, и какими забытыми представляются эти слова при современныхъ литературныхъ нравахъ! Писатели безъ мелкой корысти, безъ мелкаго тщеславія—гдѣ вы? Гдѣ вы, стоящіе на высотѣ интересовъ самыхъ лучшихъ, умныхъ и просвѣщенныхъ людей эпохи? Забитые въ уголъ, влачатъ они, эти писатели, мизерное существованіе, слушая торжествующіе возгласы современнаго прохвоста.

Однако, оставляя въ сторонѣ паѳосъ, возвратимся на минуту къ писаревскому реализму.

Сердце его заключается, какъ мы видѣли, въ *экономіи умственныхъ силъ*. Экономія эта обусловливается прежде всего критической мыслью, избирающей дѣйствительно полезную работу, и затѣмъ натурой.

Поэты родятся—такова мысль Писарева. Безъ заложеннаго природой обойтись нельзя. Наука, образованіе воспитываютъ и преобразуютъ природныя дарованія, безъ науки и образованія они—блестящіе метеоры—и только. Надо стремиться къ общеполезному, но какую область этого общеполезнаго вы изберете — зависитъ отъ внутреннихъ качествъ вашего духа и натуры.

По моему убѣжденію, такое признаніе индивидуальности, какъ опредѣляющаго фактора, является опять-таки безусловно необходимымъ, съ точки зрѣнія экономіи силъ. И, проповѣдуя такую теорію, Писаревъ сходится съ лучшими умами человѣчества.

У меня нѣтъ мѣста и времени, чтобы слѣдить дальше за реалистами Писарева. Надѣюсь однако, что сущность этой новой породы людей понята читателемъ. Реалистъ — это мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ; реалистъ, построивши свою жизнь на идеѣ общественной пользы и разумнаго труда, относится презрительно и враждебно ко всему, что разъединяетъ человѣческіе интересы, и ко всему, что отвлекаетъ человѣка отъ общеполезной дѣятельности. Какой-же трудъ общеполезенъ, гдѣ та почва, работая на которой можно на самомъ дѣлѣ преслѣдовать общечеловѣческіе интересы? Это прежде всего почва *науки*, знанія. И эта наука должна какъ можно шире разлиться въ массѣ, стать основаніемъ всякаго труда.

«Трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барскою роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика — до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло — невѣжество, противъ этого зла есть только одно лекарство—наука, но это

лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сороковедерными бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣка такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ».

Нельзя не залюбоваться этимъ блестящимъ изложеніемъ принциповъ умственнаго демократизма. Все человѣчество является передъ нами ассоціаціей мыслящихъ и знающихъ работниковъ. Принципъ общечеловѣческой солидарности установленъ на прочныхъ основаніяхъ. Но пусть подумаетъ читатель, какія личности могутъ быть солидарны между собой? Тѣ-ли, которыя представляютъ привилегіи рода или интересы собственности. Нѣтъ, такія по необходимости разъединены и между собой, и съ другими. Возьмите феодала и крѣпостного цензиторія. Толкуйте имъ объ общечеловѣческой солидарности, сколько вамъ заблагоразсудится, и всѣ ваши проповѣди окажутся стѣннымъ горохомъ, въ чемъ довольно наглядно и постоянно убѣждалась католическая церковь въ первую половину среднихъ вѣковъ. Возьмите капиталиста и рабочаго. Несмотря на всѣ синдикаты, которые устраиваются и тамъ, и здѣсь, солидарность между ними все-же проблематична, разъ въ ихъ взаимныя отношенія не вмѣшивается принудительное начало въ лицѣ государства. Даже два капиталиста лишь въ рѣдкихъ случаяхъ могутъ быть солидарны между собою, и если сегодня они дѣйствуютъ за одно, то кто-же поручится, что они не будутъ завтра врагами на рынкѣ? Слѣдовательно, разъ рѣчь идетъ объ общечеловѣческой солидарности, надо твердо знать, къ кому собственно обращаться съ такою проповѣдью. Писаревъ понималъ это и, прежде чѣмъ заговорить о солидарности, опредѣлялъ, какъ онъ понимаетъ личность. Личность выражается для него въ *трудѣ*, и только въ немъ одномъ. У ней нѣтъ портретовъ предковъ, она не можетъ похвастать подвигами своихъ праотцевъ, у ней нѣтъ внѣшней силы—денегъ напримѣръ—на которую она могла-бы опираться и игнорировать «законъ природы». Реалистъ — это мыслящій работникъ *и только*, трудъ — нервъ и основа его жизни, интересы реалиста и личности—это интересы труда.

Въ этой-то области проповѣдь общечеловѣческой солидарности возможна и необходима.

Разногласіе Писарева съ «Современникомъ»:

Однажды Писаревъ заявилъ, что онъ совершенно расходится съ

Добролюбовымъ по вопросу о типѣ Катерины въ «Грозѣ» Островскаго (статья «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ») и написалъ статью «Мотивы русской драмы», въ которой, какъ ему казалось, онъ перерѣшилъ вопросъ на лучшихъ и болѣе новыхъ основаніяхъ. Это произвело въ литературѣ скандалъ; многіе изъ почитателей Добролюбова шокировались такимъ поступкомъ Писарева, осыпали насмѣшками и порицаніями его якобы-желаніе во что-бы то ни стало встать выше Добролюбова и приписали это желаніе единственно самолюбію молодого писателя, слишкомъ очарованнаго быстротой своего успѣха. Желанія встать выше Добролюбова у Писарева, насколько мнѣ это извѣстно, никогда не было; напротивъ даже, онъ относился къ своему предшественнику съ полнымъ уваженіемъ, но что онъ обязанъ былъ разойтись съ нимъ на томъ или другомъ пунктѣ—это несомнѣнно. Это—двѣ различныя натуры, созданныя разной семейной и общественной обстановкой.

«Разница между мной и Добролюбовымъ—писалъ Писаревъ въ 1864 г. *)—объясняется въ двухъ словахъ. Добролюбовъ былъ энтузіастъ и считалъ нѣкоторую долю энтузіазма необходимой для каждаго честнаго человѣка, а я глубоко ненавижу и презираю всякій энтузіазмъ; онъ противенъ всей моей природѣ, и я считаю его всегда вредною нелѣпостью. *Добролюбовъ думалъ, что жизнь можетъ обновиться порывами чувства, а я убѣжденъ, что она обновляется только работою мысли.* Добролюбовъ почти не имѣлъ понятія о естественныхъ наукахъ, а я считаю ихъ краеугольнымъ камнемъ здороваго умственнаго развитія и всякаго человѣческаго прогресса.»

Различіе проведено съ большой рѣзкостью и опредѣленностью, но очевидно, что Писаревъ немного клевещетъ на самого себя. Что-же, какъ не энтузіазмъ, находитъ читатель во всѣхъ его статьяхъ, и если энтузіазмъ—это вѣра, дѣлающая «желаемое» очевиднымъ, необходимымъ и «какъ-бы существующимъ», то вѣдь такой молодой, здоровой, полной бодрости и увлеченія вѣры Писареву не занимать стать. Но онъ правъ, когда говоритъ, что всегда ставилъ на первый планъ работу ума и мысли, и что естественныя науки являлись съ его точки зрѣнія краеугольнымъ камнемъ здороваго развитія. Мы уже знаемъ его мечту перечитать все выдающееся по естествознанію, и другую его мечту—ознакомить россійскую публику съ европейской наукой въ цѣломъ рядѣ живыхъ популярныхъ статей.

---

*) Письмо къ матери изъ крѣпости. Тетрадь № 12.

Обновленіе жизни было для него такъ-же желательно, такъ-же нравственно необходимо, какъ и для Добролюбова, но это обновленіе онъ искалъ въ широкомъ развитіи просвѣщенія, въ освобожденіи души скорѣе, чѣмъ въ освобожденіи тѣла. Онъ—искренній послѣдователь Конта и Бокля, раціоналистовъ XVIII вѣка, съ которыми его сближала страстная вѣра въ силу разума и критической мысли.

Какую эволюцію—умственную-ли, нравственную или экономическую—поставить на первый планъ, это вопросъ далеко еще не выясненный въ философіи исторіи. Мнѣніе Писарева можно защищать очень энергично, mutatis, разумѣется—mutandis—напр. его излишнее обожаніе естественныхъ наукъ и математики. Но вотъ въ чемъ дѣло—зачѣмъ какую-нибудь отдѣльную эволюцію ставить впередъ, въ голову, считать ее фундаментомъ, а все остальное надстройками? Нужно быть очень плохимъ историкомъ, чтобы не видѣть, какъ всѣ отдѣльныя эволюціи переплетаются между собой, вліяютъ ежеминутно другъ на друга и создаютъ такую сложную паутину, что сказать: я нашелъ первоисточникъ и начало круга, право слишкомъ смѣло. Несомнѣнно однако, что каждая эпоха имѣетъ свой основной узелъ—иногда религіозный, иногда экономическій. Самые-же энергичные историческіе взрывы и перевороты создаются всегда совпаденіемъ умственной и экономической эволюціи.

«Лучъ свѣта» для Писарева означаетъ умную, критически развитую личность.

«Облегчая жизнь себѣ и другимъ,—говоритъ онъ (т. I, стр. 222),—умный и развитой человѣкъ не ограничивается этимъ; онъ кромѣ того, въ большей или меньшей степени, сознательно или невольно, перерабатываетъ эту жизнь и приготовляетъ переходъ къ лучшимъ условіямъ существованія. Умная и развитая личность, сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея обращеніе, ея спокойная твердость—все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ по крайней мѣрѣ уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка, а людямъ очень полезно уважать то, что дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодъ, кто способенъ полюбить идею, кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ быть начнетъ новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ такимъ образомъ обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если она внушитъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ

тому, что они прежде осмѣивали и притѣсняли,—то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлаютъ въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ силъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ пріемовъ. Такъ вотъ какіе должны быть лучи свѣта—не Катеринѣ чета.»

Все это очень основательно, но не всегда и вездѣ примѣнимо. Видя источникъ русской драмы главнымъ образомъ въ столкновеніи понятій, въ стремленіи общества закрѣпостить духовную личность и свободу человѣка, Писаревъ, съ своей точки зрѣнія, предлагалъ совершенно раціональное средство — критику и науку. И разумѣется полнота человѣческаго прогресса можетъ воплотиться лишь въ тѣхъ личностяхъ, о которыхъ мечталъ Писаревъ. Объ этомъ никто не станетъ съ нимъ спорить, не сталъ-бы спорить и самъ Добролюбовъ, но относительно *процесса* перехода къ лучшимъ идеямъ и болѣе сноснымъ условіямъ жизни — смѣло можно держаться совершенно другихъ взглядовъ. *Все*, что создаетъ условія для развитія гармонической, интеллигентной личности, — все это прекрасно, но это *все*—не только умственное развитіе, не только наука, не только естествознаніе...

Все это—общеизвѣстныя истины, настаивать на которыхъ нѣтъ никакой надобности. Но неужели Писаревъ не понималъ ихъ? Уже одно его уваженіе къ естественнымъ наукамъ должно было-бы внушать ему, что «прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній» является равнодѣйствующей всей суммы жизненныхъ условій. Невозможно даже допустить, чтобы Писаревъ не замѣтилъ слона тамъ, гдѣ даже люди, неизмѣримо меньшіе его, этого слона ясно видятъ.

Разгадка такой странности заключается, какъ кажется, въ томъ, что Писаревъ слишкомъ увлекся своей спеціальной задачей — размноженіемъ интеллигентныхъ людей по лицу родной земли. Эту задачу критикъ «Русскаго Слова» исполнилъ мастерски, со всѣмъ блескомъ таланта, но, какъ онъ вѣрно замѣтилъ: «существуетъ еще зло — пролетаріатъ, со всѣми своими ужасными послѣдствіями. Отысканіе средства, долженствующаго устранить это зло, принадлежитъ еще будущему времени». Писаревъ слишкомъ скоро успокоился на этомъ будущемъ времени, и зло пролетаріата интере-

совало его гораздо меньше, чѣмъ зло невѣжества, догматизма, приличій и обычаевъ. А это невѣжество, этотъ догматизмъ, эти приличія и обычаи и вмѣстѣ съ тѣмъ возможность освободиться отъ нихъ—гнѣздятся главнымъ образомъ въ среднемъ кругу. Къ нему-то Писаревъ и обращался прежде всего съ своей проповѣдью.

Я хочу, чтобы поняли меня полностью. Я говорю, что, слѣдуя своему влеченію и запасшись лишь извѣстными взглядами, извѣстными интересами, Писаревъ добровольно ограничилъ свою задачу. Поэтому онъ безусловно правъ, когда говоритъ передъ своей аудиторіей, т. е. людьми, имѣющими физическую и нравственную возможность учиться, развиваться и пр., онъ рисуетъ идеалъ интеллигентнаго человѣка—въ сущности этотъ идеалъ вѣренъ—но какъ только Писаревъ выходитъ за предѣлъ своей спеціальности, какъ въ «Мотивахъ русской драмы» или второй части своихъ «Реалистовъ», онъ по необходимости заблуждается. Проповѣдь критики, науки и проч. совершенно непримѣнима къ тѣмъ областямъ жизни, гдѣ всѣ заботы сводятся къ заботамъ о хлѣбѣ насущномъ. Въ эти области Писаревъ заглядывалъ слишкомъ рѣдко, но что-же мѣшало ему заглянуть туда впослѣдствіи? И онъ увидѣлъ-бы ясно, что бываютъ такія положенія, гдѣ нѣтъ мѣста для протеста мысли, а лишь — чувства, натуры.

Какъ раціоналистъ, какъ боецъ противъ предразсудковъ, какъ воплощенная жажда интеллигентной, разумной жизни, какъ проповѣдникъ великаго значенія критической работы,—Писаревъ занялъ свое мѣсто въ исторіи литературы. Всѣ жалобы на него сводятся къ тому, что у него нѣтъ того-то и того-то. Да, нѣтъ. Но развѣ можно забывать изъ-за этого то, что́ есть. А вѣдь многое есть, очень даже многое.

Пойдемъ однако дальше. Писаревъ разошелся съ «Современникомъ» и по вопросу о Базаровѣ. «Современникъ» въ очень рѣзкой статьѣ г. Антоновича заявилъ, что такихъ уродовъ, какъ Базаровъ, нѣтъ и быть не можетъ, и что Тургеневъ клевещетъ на молодежь. Писаревъ-же полагалъ, что Базаровы существуютъ, что Базаровы полезны, и полезны именно, какъ критическія личности. Въ концѣ концовъ Базаровъ сталъ для него воплощеніемъ интеллигентнаго типа. Писарева подкупали и «рѣзаніе лягушекъ», и рѣзкая откровенность базаровской натуры, ея могучая самостоятельность, ея воинствующая самобытность. Онъ увидѣлъ здѣсь полную

гармонію слова и дѣла, увидѣлъ мысль, смѣлую, независимую, воплощенную не въ манекенѣ, а въ живомъ человѣкѣ. Это—самое главное.

«*Увлечься* идеею—пишетъ онъ—не трудно, *подчиниться* идеѣ способенъ человѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ; чтобы переработать идею, напротивъ того необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими избранныя личности—оттого-то въ тѣхъ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда человѣкъ вырабатываетъ ее силами собственнаго мозга; какъ только она перешла *въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, такъ она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться.*»

Въ этихъ немногихъ словахъ—сущность писаревской души, источникъ его истины и заблужденій и даже полемики съ «Современникомъ». Базаровъ показался ему человѣкомъ, переработавшимъ идею, человѣкомъ вѣчнаго движенія впередъ, извлекшимъ изъ идеи «осязательную пользу». Оттого-то онъ такъ увлекся имъ.

Суть всего этого очень проста. Главный источникъ счастья, смыслъ и красота существованія—это работа мысли, это постоянное развитіе. Можно-ли поэтому обратить идею въ категорическій законъ, несомнѣнный, неопровержимый, какъ догматъ? Нѣтъ, нельзя, ибо въ такомъ случаѣ исчезнетъ смыслъ жизни.

Писаревъ-же, слѣдя за «Современникомъ», видѣлъ, что у этого журнала есть именно стремленіе къ догматизму, къ тому, чтобы человѣкъ запасся мыслями, заучилъ ихъ и сообразно поступалъ. Это шло въ разрѣзъ съ коренными его симпатіями, и, какъ представитель смѣлой свободы мысли, великой и привлекательной, онъ не могъ не вооружаться и вооружался съ своей обычной страстностью и прямолинейностью. Свобода мысли и критики была для него слишкомъ *святою* вещью, чтобы подчинять ее чему-бы то ни было.

Этимъ можно объяснить его разрушительныя рецензіи противъ начиненныхъ всевозможными благородными мыслями романовъ Станицкаго, его полныя—почти гейневской—злобы выходки противъ либераловъ. Не либерализмъ казнитъ онъ — онъ самъ на его сто-

ронѣ,—онъ казнитъ либеральную фаршировку, либеральный, или какой-тамъ *догматизмъ*.

«Послѣднее десятилѣтіе нашей литературы—говоритъ онъ напр.—было посвящено аклиматизированію европейскаго либерализма на обширныхъ и холодныхъ равнинахъ Россіи или—другими словами—прививанію гражданскихъ доблестей и гуманныхъ идей къ дѣвственнымъ умамъ и сердцамъ нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ. Успѣхъ гуманизирующихъ операцій превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія. Во всѣхъ нашихъ городахъ и во всѣхъ нашихъ селахъ уже томятся, изнываютъ, лепечутъ, граціозничаютъ и скандальничаютъ тысячи тщедушныхъ субъектовъ, въ которыхъ всѣ почтенные европейскіе либералы отъ графа Росселя до Юліана Шмидта будутъ принуждены признать своихъ младшихъ братьевъ, еще робкихъ и неопытныхъ, но уже способныхъ выводить тоненькимъ дискантомъ нѣкоторыя модуляціи общелиберальнаго мяуканья... Главная обязанность либерала состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, чтобы всѣмъ выраженіемъ своей физіономіи, всѣми своими словами и всѣмъ внѣшнимъ видомъ своихъ поступковъ заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великимъ идеямъ и интересамъ, которые возбуждаютъ въ немъ почти такія-же чувства, какія персидская ромашка возбуждаетъ въ клопѣ. Кто изъ либераловъ поумнѣе, тотъ продѣлываетъ всѣ эти артикулы совершенно сознательно, зная, кого онъ надуваетъ; кто попроще—и такихъ несравненно больше—тотъ либеральничаетъ чистосердечно, не замѣчая въ своей особѣ и своей доктринѣ никакихъ внутреннихъ противорѣчій, разсуждая по наслышкѣ, поступая по привычкѣ и съ дѣтскою безпечностью смотря на то, что слова и поступки совершенно уничтожаютъ другъ друга и что знамя великихъ идей водружается надъ кучей сора... Можете-ли вообразить себѣ смиренную корову, украшенную хорошимъ кавалерійскимъ сѣдломъ. Я полагаю, что эта корова представила бы намъ зрѣлище довольно комическое, но въ то-же время и печальное; затянутая подпруга сильно угнетала-бы ея коровью натуру и приводила-бы ее въ такое крайнее смущеніе, которое конечно выражалось-бы во всей ея коровьей наружности. Глядя на такую обиженную корову, каждый добродушный человѣкъ долженъ-бы сжалиться надъ ея несчастіемъ и снять съ ея спины совершенно несвойственное ей украшеніе. Но представьте себѣ для усиленія комизма и уничтоженія плачевности, что въ осѣдланную корову вселился бѣсъ гордости и самодовольства, представьте себѣ, что она, жестоко подтянутая подпругою, желаетъ изумить и очаровать васъ тонкостью своей коровьей таліи и легкостью своей коровьей походки; представьте себѣ, что она подражаетъ манерамъ кровнаго англійскаго скакуна, старается принять молодцоватый видъ и бравурную осанку, раздуваетъ ноздри, поднимаетъ хвостъ коломъ и пробуетъ пуститься съ правой ноги галопомъ. Представьте себѣ такую картину, и вы получите нѣкоторое слабое понятіе о томъ неистощимомъ комизмѣ, которымъ переполнены всѣ слова, движенія и поступки добродѣтельнаго либерала...»

Разумѣется эти строки не могутъ относиться къ «Современнику», но и въ немъ Писаревъ видѣлъ стремленіе къ догматизму, къ пропагандѣ безусловно истинной доктрины, къ созданію дѣятелей не путемъ критики, а путемъ проповѣди принятаго ученія *).

Критика была у него впереди всего.

Намъ понятно—чтобы возвратиться къ прерванному—почему «Современникъ» набросился на Базарова. Что дѣлаетъ послѣдній? «Лягушекъ рѣжетъ». Достаточно-ли этого? Съ излишней страстностью Писаревъ заявилъ, что достаточно, достаточно имѣть критически выработанное міросозерцаніе и... и, занимаясь естествознаніемъ, осмѣивать идеи и чувства лириковъ, романтиковъ, эстетиковъ, педантовъ, фразеровъ...

Маловато!

Писаревъ согласенъ и съ этимъ.

«Началъ я—говоритъ онъ—съ общечеловѣческой солидарности, а кончилъ тѣмъ практическимъ заключеніемъ, что можно только *потихоньку* осмѣивать наши мелкія глупости и *медленно* учиться вмѣстѣ съ нашею лѣнивою публикою самымъ элементарнымъ истинамъ науки. Какое мизерное заключеніе! Гора родила мышь, подумаетъ читатель, и я никакъ не осмѣлюсь ему противорѣчить. Я уже говорилъ въ первой части этой статьи, что мы бѣдны и глупы; теперь намъ пришлось убѣдиться въ томъ, что наша бѣдность и глупость доходятъ дѣйствительно до самыхъ почтенныхъ размѣровъ, до такихъ размѣровъ, что глупость мѣшаетъ намъ принимать необходимое лекарство, а бѣдность мѣшаетъ намъ пріобрѣсти себѣ за разъ достаточную дозу этого лекарства. Вслѣдствіе этого и приходится употреблять это лекарство самыми незначительными дозами и самымъ поверхностнымъ образомъ. Великая и плодотворная идея (построеніе жизни на началахъ разума и науки) должна пристроиться къ самому мелкому практическому примѣненію, и только при этомъ условіи она можетъ съ грѣхомъ пополамъ проникнуть въ сознаніе лучшаго меньшинства нашей читающей публики.»

Вотъ тирада, противъ которой долженъ былъ возстать «Современникъ», и дѣйствительно возсталъ.

Итакъ, различіе между Писаревымъ и «Современникомъ» сводится къ слѣдующимъ пунктамъ:

1) Писаревъ стоялъ на точкѣ зрѣнія умственной эволюціи, «Современникъ»—на почвѣ политико-экономической.

---

*) См. напр. статью Писарева „Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби“.

2) Писаревъ думалъ, что наступленіе лучшаго времени можетъ быть вызвано прежде всего распространеніемъ знаній и работой критической мысли. «Современникъ» считалъ это недостаточнымъ.

3) Писаревъ громадную роль въ жизни отводилъ отдѣльнымъ интеллигентнымъ личностямъ. «Современникъ» — общественнымъ условіямъ.

4) Писаревъ защищалъ прежде всего *свободу мысли*. «Современникъ»—извѣстную доктрину.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, Писаревъ не только не отказывался отъ лучшихъ стремленій своихъ противниковъ, но и былъ прямо на ихъ сторонѣ.

Дѣло въ томъ, что принципіальнаго разногласія между *Словомъ* и *Современникомъ* не было. Оба журнала дѣлали то-же дѣло, подступая къ нему съ разныхъ концовъ. «Русское Слово» создалось той-же логичностью общественнаго мышленія. Оно явилось уже въ такое время, когда острый моментъ всѣхъ вопросовъ миновалъ. Освобожденіе крестьянъ (худо или хорошо) теперь уже свершилось, а остальныя реформы, послѣдовавшія за освобожденіемъ, конечно не могли заполнить всей журналистики или составить ея исключительный интересъ. О судебной реформѣ, о земствѣ было достаточно двухъ-трехъ статей. Что-же за тѣмъ могло составить содержаніе ежедневной печати и журналистики, въ чемъ могли заключаться интересы общества, что ему было нужно, о чемъ оно думало или хотѣло думать? Внутренняя политика въ своихъ дальнѣйшихъ вопросахъ стояла внѣ компетенціи общества и журналистики и до обсужденія не допускалась. А между тѣмъ освобожденіе и новый судъ, а потомъ и земскія учрежденія открывали очень широкій просторъ для новыхъ вопросовъ и идей, непосредственно съ ними связанныхъ, и какъ-бы на время заслоненныхъ такимъ грандіознымъ дѣломъ, какъ освобожденіе. Этимъ новымъ очереднымъ вопросомъ было выясненіе личности, ея положенія, ея развитія, и вообще ея внутренняго значенія, содержанія и отношенія къ обществу и общему прогрессу. До сихъ поръ, думая о реформахъ и перемѣнахъ въ учрежденіяхъ, какъ-бы забывалось, что ихъ на своихъ плечахъ должна вынести личность, говорили только о новыхъ мѣхахъ, до времени умалчивая о винѣ.

«Личность, какъ личность, говоритъ Шелгуновъ, не составляла задачи «Современника», и задача эта досталась на долю той послѣ-

дующей журналистики, для которой реформы и ближайшіе, связанные съ ними, вопросы являлись уже чѣмъ-то прошлымъ. Для этой части журналистики настоящее заключалось въ вопросѣ о личности, которой теперь, какъ кажется, и наступила очередь занять главное вниманіе общества. Любопытно, что въ то-же время, когда Писаревъ выступилъ съ разрѣшеніемъ личныхъ вопросовъ въ «Русскомъ Словѣ», появился романъ «Что дѣлать?», спеціально посвященный вопросу о личномъ счастьи и лучшемъ личномъ устройствѣ жизни. Очевидно, что въ новомъ движеніи мысли была логическая связь съ предыдущимъ движеніемъ. «Русское Слово», взявшее на себя отвѣты на запросы личности, вовсе не являлось чѣмъ-то обособленнымъ. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлялъ «Современникъ». Если «Современникъ» говорилъ преимущественно о новыхъ мѣхахъ, то «Русское Слово» говорило о новомъ винѣ, которое должно ихъ наполнить. Но какъ «Современникъ», разрѣшая экономическіе, общественные и политическіе вопросы, не обходилъ вопросовъ бытовыхъ и личныхъ, такъ и «Русское Слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всѣхъ остальныхъ. Такимъ образомъ «Современникъ» примыкалъ своими бытовыми и личными вопросами къ «Русскому Слову», а «Русское Слово» статьями политическаго, общественнаго и экономическаго содержанія примыкало къ «Современнику». Оба журнала, несмотря на то, что хронологически шли одинъ за другимъ, принадлежали къ одному періоду движенія общественной мысли и являлись первыми піонерами въ области тѣхъ вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ сообщало имъ спеціальный цвѣтъ и характеръ, создало каждому законченную и опредѣленную физіономію. Область «Современника» были учрежденія и порядки, областью «Русскаго Слова» — интеллигентная личность».

Отношеніе Писарева къ народу. Народомъ Писаревъ занимался сравнительно очень мало. Очевидно, что не народъ привлекалъ главное его вниманіе, а тѣ люди, «которые хотятъ знать и учиться, но не знаютъ, какъ взяться за дѣло». Имъ-то писалъ онъ: «мнѣ хочется сообщить какъ можно больше хорошихъ идей и дать имъ какъ можно больше реальныхъ свѣдѣній». Читатель, я думаю, и самъ понимаетъ, что по своей «умственной» натурѣ, по трезвому направленію своей мысли народникомъ въ общепринятомъ смыслѣ слова Писаревъ не могъ быть никогда. Народничество пред-

полагаетъ сердечную любовь къ мужику, непремѣнную вѣру въ хорошія качества его натуры, его доброту и нравственность. Обстоятельства жизни Писарева сложились такъ, что онъ всегда стоялъ вдали отъ народа и видѣлъ его или изъ окна знаменскаго дома, или на страницахъ повѣстей и романовъ. Поэтому никакихъ нѣжныхъ чувствъ онъ питать къ нему не могъ. Но, какъ прогрессистъ и либералъ, онъ, разумѣется, не могъ находить ничего хорошаго во тьмѣ и невѣжествѣ, въ какихъ пребываетъ русскій народъ. Онъ хотѣлъ для него знанія, хорошихъ книгъ, хорошихъ школъ, онъ не относился равнодушно къ тому великому событію, которое совершилось у него на глазахъ — къ уничтоженію крѣпостного права, но не видно, чтобы это обстоятельство потрясло его до глубины души: онъ былъ тогда слишкомъ молодъ.

«Мужика надо любить...». Этой формулы Писаревъ принять не могъ уже по той простой причинѣ, что въ спасительную силу любви онъ не вѣрилъ. А что въ мужикѣ надо уважать его человѣческое достоинство и *слѣдовательно* давать ему возможность развиваться, идти впередъ—въ этомъ Писаревъ не сомнѣвался. Достоинство человѣка и выражалось главнымъ образомъ для него въ стремленіи къ развитію и совершенствованію...

Вотъ, если не ошибаюсь, то мѣсто, въ которомъ Писаревъ особенно полно высказался по вопросу объ «обязанностяхъ интеллигенціи передъ народомъ».

«Наконецъ-то—пишетъ онъ—общество начинаетъ сознавать, что на немъ лежитъ обязанность дѣлиться съ народомъ знаніями и идеями... Необходимость народнаго образованія вошла въ общественное сознаніе, но между теоретическимъ и практическимъ рѣшеніемъ вопроса лежитъ цѣлая бездна. Давно-ли въ нашихъ журналахъ разсуждали и спорили о томъ, нужна-ли народу грамотность. Вопросъ этотъ рѣшенъ утвердительно, но самая возможность подобнаго спора, самая необходимость доказывать аксіому служитъ осязательнымъ примѣромъ того, какъ ново и непривычно для насъ дѣло народнаго образованія. И это не удивительно. Потребность умственнаго прогресса была отодвинута въ нашей жизни на задній планъ, и мы, вмѣсто истиннаго образованія, довольствовались одними внѣшними условіями его; мы не видѣли, или лучше, не хотѣли видѣть, что позади насъ есть милліоны другихъ людей, которые *имѣютъ одинаковое право на человѣческую жизнь, образованіе и соціальное усовершенствованіе.* Теперь мы сознаемъ, что безъ этихъ милліоновъ людей мы не далеко уйдемъ съ своей привозной цивилизаціей и съ своимъ просвѣщеніемъ, взятымъ на прокатъ. Такимъ образомъ ве-

ликой задачей нашего времени является умственная эмансипація массъ, черезъ которую предвидится имъ исходъ къ лучшему положенію, не только ихъ самихъ, но и всего общества. Школой нашего воспитанія является весь народъ, а воспитателемъ его образованное меньшинство. Въ теоріи мы знаемъ, что надо дѣлать... Но если нельзя браться кое-какъ съ налету за воспитаніе ребенка, то тѣмъ болѣе нельзя съ кое-какими теоретическими свѣдѣніями приступать къ народу. Въ первомъ случаѣ мы рискуемъ приготовить обществу дурного гражданина, можетъ быть несчастную жертву порока, во второмъ—мы принимаемъ на себя тяжелую отвѣтственность за всю націю»...

Надо однако знать народъ, чтобы можно было съ успѣхомъ воспитывать его. «Народъ ближе стоитъ къ природѣ и смотритъ на окружающій его міръ яснѣе, чѣмъ мы, потому что взглядъ его не омраченъ предубѣжденіями и ложными понятіями нашей жизни... Но потому-то намъ и трудно наблюдать и анализировать народную жизнь; мы обыкновенно подступаемъ къ ней съ предвзятыми идеями и даемъ свой собственный произвольный смыслъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Мѣшаетъ изученію народной жизни и то совершенно законное недовѣріе, которое питаетъ мужикъ ко всякому, кто носитъ не народное платье. И какъ будетъ онъ вѣрить? Мы для него до сихъ поръ ровно ничего не сдѣлали, мы его трудами жили втеченіи столѣтій, и онъ это помнитъ той самой памятью, которая до сихъ поръ хранитъ въ народной пѣснѣ воспоминанія о Дунаѣ-рѣкѣ и о Владимірѣ Красномъ-Солнышкѣ. И мы должны признаться, что при настоящемъ положеніи дѣла изученіе народности только что начинается. Исторія разлучила насъ съ народомъ гораздо раньше Петра».

Приходится пожалѣть, что Писаревъ, увлекшись своей пропагандой среди людей средняго состоянія и тратя всѣ свои громадныя силы на созданіе *истинной* интеллигенціи, совершенно не занимался вопросомъ о народѣ. Въ приведенныхъ выше мысляхъ оригинальнаго, правда, нѣтъ ничего, но меня напр. положительно подкупаетъ реализмъ и трезвость направленія. Ни народничества, ни мистицизма, ни того обычнаго страха, съ какимъ интеллигентъ подступаетъ обыкновенно къ сѣрой массѣ, боясь разочароваться въ томъ, что вся она состоитъ изъ сермяжныхъ ангеловъ. Надо учить народъ, но чтобы учить — нужно знать, кого учишь, «надо знать своего воспитанника вдоль и поперекъ». А чему учить? Очевидно тому-же, что и намъ самимъ полезно для трудовой и счастливой жизни, т. е. надо учить реальному, давать пригодныя къ жизни

свѣдѣнія, а не обучать «добродѣтели» и ужъ отнюдь не учиться добродѣтели, какъ дѣлаютъ нѣкоторые изъ моихъ современниковъ. Всѣ посылки у Писарева имѣются, выводовъ онъ сдѣлать не успѣлъ...

Педагогическія воззрѣнія Писарева. Наши педагоги имѣютъ привычку или совсѣмъ ничего не читать, или-же зачитывать до дыръ разныя нѣмецкія или вообще иностранныя брошюрки, а на то, что у насъ подъ руками, они лишь изрѣдка обращаютъ свое благосклонное вниманіе. Педагогу прежде всего необходимо знать дѣтскую душу,—что сдѣлано у насъ для изученія дѣтскихъ типовъ, съ такою яркостью выведенныхъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, Толстого, Помяловскаго? Есть-ли у насъ хоть одна статья, хоть одна маленькая замѣтка о педагогическихъ воззрѣніяхъ Писарева? А между тѣмъ ими-бы стоило позаняться, что я и разсчитываю сдѣлать въ другомъ мѣстѣ. Пока-же нѣсколько общихъ соображеній.

Теорія Писарева нѣсколько односторонняя, разъ ее приходится прилагать къ вопросамъ общественнымъ, безусловно справедлива въ области педагогики. Писаревъ самъ инстинктивно сознавалъ это и посвятилъ школѣ и воспитанію цѣлый рядъ блестящихъ статей. Вотъ онѣ:

1) «Наша университетская наука».
2) «Школа и жизнь».
3) «Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ».
4) «Погибшіе и погибающіе».
5) «Педагогическіе софизмы».

Кромѣ того Писаревъ постояннно затрогиваетъ мимоходомъ тѣ-же самые вопросы въ различныхъ своихъ статьяхъ. И хотя-бы кто нибудь изъ нашихъ педагоговъ обмолвился и вспомнилъ дни своей юности, когда онъ зачитывался Писаревымъ, впитывая въ себя «ядъ» и нектаръ свободной жизни.

О педагогическихъ воззрѣніяхъ Писарева можно написать цѣлое и очень полезное изслѣдованіе. Къ сожалѣнію, моя біографія и такъ уже разраслась: нужно беречь мѣсто.

Всѣ излюбленныя идеи Писарева—духовная самостоятельность личности, уваженіе передъ индивидуальностью, экономія силъ, реализмъ свѣдѣній,—всѣ онѣ должны найти, и рано или поздно найдутъ, свое мѣсто въ будущихъ педагогическихъ системахъ. Здѣсь

для нихъ полный просторъ, здѣсь имъ не придется сталкиваться ни съ «системой экономическихъ противорѣчій», ни съ политическими программами. Писаревъ въ полномъ смыслѣ слова можетъ быть названъ педагогомъ-теоретикомъ, ибо что-же онъ дѣлалъ, какъ не *училъ* тому, *какъ* надо учиться, развивать свой умъ, совершенствовать свою личность, а черезъ нее общественный строй.

Воспитаніе должно развить и образовать характеръ человѣка, пріучить его умъ къ самостоятельной работѣ, его чувство—къ вѣрѣ въ самого себя, къ уваженію чужого достоинства, должно снабдить его суммой полезныхъ и необходимыхъ свѣдѣній и тѣмъ мужествомъ, которое позволяетъ человѣку бодро выносить неудачи жизни и становиться на ноги даже послѣ сильныхъ ударовъ судьбы.

«Надо прежде всего беречь въ ребенкѣ его самого, надо уважать въ немъ то, что не можетъ быть пріобрѣтено никакими усиліями и не можетъ быть куплено ни на какія деньги,—словомъ, его личность, его оригинальность, данную ему отъ природы. *Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ.* Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи». Такъ учитъ Писаревъ. И это какъ нельзя болѣе справедливо. Не проходитъ-ли черезъ всю нашу воспитательную систему уродливое стремленіе обезличить человѣка съ минуты его перваго лепета вплоть до полученія всевозможныхъ аттестатовъ? Чисто механическая система усвоенія, отсутствіе живого интереса и нравственной связи между учащими и учащимися—вотъ то мертвящее всякое благое начинаніе зло, съ которымъ на первыхъ-же порахъ приходится встрѣчаться каждому, кто мало-мальски углублялся въ изученіе педагогики.

Читатель уже знаетъ воззрѣнія Писарева на этотъ счетъ. Онъ припомнитъ въ этомъ мѣстѣ его убійственную характеристику гимназическаго курса, припомнитъ письмо къ матери, гдѣ, объясняя свой разладъ съ нею, Писаревъ говоритъ, что причина такого разлада кроется въ «воспитательномъ деспотизмѣ», въ пренебреженіи внутреннимъ *я* воспитанника и въ желаніи сдѣлать изъ него нѣчто на свой собственный образецъ. А природа? Вѣдь она-же вкладываетъ въ человѣка его силы, его влеченія и страсти. Воспитаніе должно лишь регулировать ихъ, должно подавлять дурное, развивая умъ, но «формировать характеръ—нелѣпая претензія».

Отсутствіе уваженія къ природѣ, къ естественнымъ наклон-

ностямъ и даже потребностямъ организма можно встрѣтить на каждомъ шагу. Припомните, съ какой страстностью Писаревъ защищалъ *здоровье* учащихся дѣтей. «Пусть—говоритъ онъ—школа поглощаетъ время воспитанниковъ, не давая имъ за это время прямо полезныхъ знаній, но пусть она по крайней мѣрѣ *не посягаетъ на ихъ здоровье*». Хотя-бы это! Но «когда мы смотримъ на слабаго, блѣднаго и притупленнаго юношу, мы имѣемъ полное право сказать съ законной гордостью: вотъ дѣло рукъ нашихъ. Мы заставляли его учиться, когда ему хотѣлось спать, мы заставляли его сидѣть на мѣстѣ, когда ему хотѣлось бѣгать, мы держали его въ четырехъ стѣнахъ, когда ему необходимо было дышать свѣжимъ воздухомъ, мы мужественно боролись со всѣми естественными стремленіями этого строптиваго организма и, какъ видите, мы достигли того, что этотъ организмъ, утратилъ всю свою строптивость и въ настоящую минуту не стремится рѣшительно ни къ чему».

Послѣднее время мы какъ-то особенно усердно трепали вопросъ о переутомленіи учащихся. Рѣшусь напомнить, что этотъ вопросъ ровно 30 лѣтъ тому назадъ былъ поднятъ и великолѣпно разработанъ Писаревымъ. Итакъ—физическое здоровье, какъ основа самостоятельной личности,—это необходимый minimum и вмѣстѣ съ тѣмъ краеугольный камень. Тотъ-же принципъ смѣло можетъ быть приложенъ и къ области воспитанія умственнаго. Взваливать на ребенка слишкомъ много—это величайшее зло.

«Я твердо увѣренъ,—пишетъ Писаревъ,—что ни гимназія, ни университетъ, ни какое либо другое учебное заведеніе не могутъ и никогда не будутъ въ состояніи выпускать въ свѣтъ совершенно образованныхъ людей, то есть такихъ людей, которымъ незачѣмъ было бы трудиться больше надъ собственнымъ развитіемъ и пріобрѣтать новыя знанія собственными усиліями». «Когда школа хочетъ замѣнить человѣку самообразованіе, тогда она берется совсѣмъ не за свое дѣло и, стараясь сдѣлать для учащагося юношества черезъ чуръ много, не дѣлаетъ даже того, что составляетъ ея прямую и естественную обязанность. Самообразованіе составляетъ необходимую и въ высшей степени законную фазу человѣческаго развитія. Школа должна стремиться не къ тому, чтобы избавить человѣка отъ трудовъ самообразованія, а къ тому, чтобы сдѣлать эти труды возможными и плодотворными. Школа должна возбудить въ человѣкѣ любознательность, и во-вторыхъ развернуть и укрѣпить силы его ума настолько, чтобы человѣкъ, выходя изъ школы въ жизнь, могъ, безъ постороннихъ руководителей, искать и находить разумное удовлетвореніе своей любознательности».

Этого достаточно, чтобы ознакомиться съ сущностью воззрѣній Писарева на воспитаніе. Мы видѣли лишь фундаментъ, но все зданіе слишкомъ обширно, чтобы я могъ обрисовать его читателю...

Писаревъ, какъ критикъ.

Слава Писарева основывается на его критическихъ статьяхъ. И на самомъ дѣлѣ трудно представить себѣ болѣе увлекательное чтеніе. Пылкое и вмѣстѣ съ тѣмъ полное юмора изложеніе, слогъ близкій къ разговорному и вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно изящный, художественная полнота, съ которой развивается мысль безъ этихъ непріятныхъ скачковъ и постоянныхъ отступленій за нѣсколько верстъ въ сторону—дѣлаютъ любую статью Писарева и доступной для всѣхъ, и интересной для всѣхъ. Среди своихъ поклонниковъ Писаревъ считалъ не мало гимназистовъ и дѣвушекъ. Передаютъ даже комическую формулу, съ какой когда-то мужья 60-хъ годовъ обращались къ своимъ супругамъ шестидесятницамъ: «матушка, или хозяйствомъ заниматься, или Писарева читать»—затѣмъ слѣдовали свирѣпые взгляды на недожаренное жаркое или переваренный картофель. Все это говоритъ совсѣмъ не о томъ, что Писаревъ высказывалъ маленькія мысли, а лишь объ его литературномъ искусствѣ, объ удивительномъ мастерствѣ словесныхъ дѣлъ и той завлекательности, которую онъ умѣлъ придавать самымъ сухимъ матеріямъ. Изящество и легкость его статей ничуть не мѣшаютъ серьозности ихъ содержанія, и пожалуй даже наоборотъ: талантъ Писарева какъ-бы разгорался, встрѣчая себѣ препятствія, и достигалъ своего кульминаціоннаго пункта тамъ, гдѣ трудность разбиравшагося вопроса была наибольшая.

Это о формѣ статей Писарева. Публицистическая сторона ихъ цѣликомъ вращается возлѣ одной драмы русской жизни, которую онъ подмѣтилъ съ первыхъ-же шаговъ своей литературной дѣятельности. Разъяснять эту драму, раскрывать передъ читателемъ всю ея полную непригляднаго мрака глубину—онъ считалъ своей главной обязанностью и не забывалъ о ней ни на минуту, лишь только перо попадало въ его руку. Читатель знаетъ эту драму. Ея сущность сводится къ тому слишкомъ обычному явленію, какъ невѣжество и предразсудки засасываютъ свободную человѣческую личность. Страшная драма—кончается-ли она смертью героя, или тѣмъ, какъ, постепенно привыкнувъ къ своему халату и туфлямъ, человѣкъ осоловѣлыми глазами смотритъ на міръ Божій, не воспринимая изъ него ни

мысли, ни добраго чувства, ни стремленія къ живой дѣятельности, а лишь неотразимый позывъ къ зѣвотѣ. «Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе—вотъ,—говоритъ Писаревъ,—болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика; вотъ что часто мѣшаетъ развитію молодого ума, вотъ что заставляетъ людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ». Произведенія Писемскаго, Тургенева, Гончарова служили Писареву обильнѣйшимъ матеріаломъ для иллюстраціи «драмы». Въ «Тюфякѣ» напр. три молодыя личности, не обиженныя природою, измучиваются, вянутъ и гибнутъ. Въ этихъ личностяхъ нѣтъ ничего особеннаго ни въ хорошую, ни въ дурную сторону; онѣ не геніи и не уроды; одаренные достаточной долей ума и практическаго смысла, онѣ могли бы прожить себѣ въ свое удовольствіе, вырастить съ полдюжины дѣтей и умереть спокойно, оставивъ по себѣ пріятное воспоминаніе въ сердцахъ благодарнаго потомства: т. е. своихъ дѣтей и внучатъ. Выходитъ совсѣмъ не то, что слѣдовало ожидать. Одинъ изъ трехъ—Павелъ Бешметевъ—спивается съ кругу и умираетъ въ молодыхъ лѣтахъ. Другая—жена Бешметева—проводитъ молодость въ грубыхъ семейныхъ сценахъ и остается вдовою тогда, когда уже не знаетъ, что дѣлать съ своею свободою, третья—сестра Бешметева—посвящаетъ жизнь свою служенію обязанности, живетъ для своихъ дѣтей, терпитъ дурака мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова, и медленно хилѣетъ, потому что съ одной обязанностью не проживешь жизни.

«И это жизнь!—восклицаетъ Писаревъ,—стоитъ-ли заботиться о своемъ пропитаніи, поддерживать свое здоровье, беречься простуды только для того, чтобы видѣть, какъ день смѣняется ночью, какъ чередуются времена года, какъ подрастаютъ одни люди и старѣются другіе. Если жизнь не даетъ ни живого наслажденія, ни занимательнаго труда, то зачѣмъ-же жить? Зачѣмъ пользоваться самосознаніемъ, когда самъ не находишь для него цѣли и приложенія?»..

За этой-то драмой гибели человѣческой личности «въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ»—Писаревъ слѣдилъ, повторяю, съ особеннымъ напряженнымъ вниманіемъ. Писемскій, какъ человѣкъ особенно близкій къ дѣйствительности, исключительно не терпѣвшій какой-бы то ни было идеализаціи, пользуется большой его симпатіей, и онъ частенько

возвращается къ его романамъ, черпая въ нихъ то, чего ему не хватало по недостатку личнаго опыта. У Писемскаго онъ нашелъ своихъ *вѣчныхъ дѣтей*, «для которыхъ послѣднее произнесенное слово служитъ закономъ и для которыхъ противъ безсознательнаго крика большинства нѣтъ апеляцій»,—своихъ карликовъ. Но такія статьи, какъ «Погибшіе и Погибающіе», вводятъ насъ уже въ область темнаго царства, гдѣ горе не отъ одной уже рутинности понятій.

Самостоятельной теоріи искусства Писаревъ не создалъ; впрочемъ онъ мало и занимался имъ. Въ литературномъ произведеніи былъ важенъ для него прежде всего тотъ матеріалъ, который оно заключаетъ въ себѣ. Матеріалъ ничтоженъ или лживъ,—Писаревъ мечетъ громы и молніи; правдивъ, важенъ,—Писаревъ пользуется имъ для проведенія своихъ излюбленныхъ идей. Выдуманнаго онъ терпѣть не можетъ, но отсюда совершенно не слѣдуетъ, чтобы онъ требовалъ отъ художника быть фотографическимъ аппаратомъ и только. Какъ въ каждомъ человѣкѣ Писаревъ цѣнилъ больше и прежде всего свободно и смѣло-выраженную индивидуальность, такъ и въ художникѣ. «Поэтъ долженъ воплощать въ себѣ лучшія стремленія своего вѣка, долженъ страдать страданьемъ міра и радоваться его радостью. Онъ пишетъ кровью своего сердца. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца, необходимо безпредѣльно и глубокосознательно любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и ненависть были дѣйствительно чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать». Любовь и ненависть на прочномъ фундаментѣ личнаго опыта и знанія—вотъ что больше всего цѣнится Писаревымъ въ поэтическомъ произведеніи. Дѣйствующая, боевая точка зрѣнія на жизнь, воодушевлявшая его постоянно, перенесена въ область искусства. Одинаково смотрѣлъ онъ и на критику: онъ требовалъ, чтобы критикъ *выражалъ себя*, боролся и проповѣдывалъ во имя своей любви и ненависти. Легко себѣ представить, какъ отнесся-бы онъ къ нашей безличной, вегетаріанской литературѣ, читая произведенія которой, не знаешь, что собственно приходится тебѣ дѣлать: солому-ли жевать, или перелистывать страницы, гдѣ робость мысли, шатаніе чувства бросаются въ глаза прежде всего.

X.

На свободѣ.—Разрывъ съ Благосвѣтловымъ.—Новая любовь.—Изъ воспоминаній о Писаревѣ А. М. Скабичевскаго.—Слава.—Переходъ въ «Отечественныя Записки».—Смерть Писарева.

Выйдя изъ крѣпости, Писаревъ поселился вмѣстѣ съ матерью и сестрами въ маленькой и скромной квартирѣ на Петербургской сторонѣ. Онъ чувствовалъ себя утомленнымъ, измученнымъ; въ немъ пробуждалась страстная потребность полнаго умственнаго отдыха. Но надо было писать, чтобы жить. Эти послѣдніе годы ему приходилось зачастую насиловать себя, берясь за перо, и онъ то и дѣло жалуется на какую-то апатію, на бездѣйственность. Хорошій человѣкъ на мѣстѣ Благосвѣтлова, понимая, что сдѣлалъ Писаревъ для «Русскаго Слова» и что-бы онъ могъ сдѣлать въ будущемъ, отдохнувши, какъ слѣдуетъ,—помогъ бы ему въ этомъ. Но не такимъ былъ Благосвѣтловъ. Здѣсь-то, въ эпизодѣ разлада, а затѣмъ и разрыва съ Писаревымъ, проявилась, какъ нельзя лучше, вся мелочность и буржуйство его натуры. Поводъ, послужившій къ разладу, былъ ничтоженъ, причины-же лежали, какъ кажется, глубже. Попробуемъ разобраться въ этомъ эпизодѣ. Строго говоря, какъ ни амикошонствовалъ Благосвѣтловъ съ Писаревымъ, искренно онъ къ нему никогда не относился. Трудно повѣрить, а между тѣмъ Писареву во время зенита его славы приходилось писать Благосвѣтлову изъ крѣпости такія напр. письма:

«Григорій Евлампович. Твое послѣднее письмо страдаетъ крайней неопредѣленностью выраженій, и потому я прошу тебя дополнить его нѣкоторыми комментаріями. Ты пишешь: «на будущее-же время ты можешь предлагать «Русскому Слову» какія угодно условія, а я буду принимать или отвергать ихъ, смотря по нравственной деликатности нашихъ отношеній и по моей возможности, но *прошу меня уволить одинъ разъ и навсегда отъ всякихъ полицейскихъ ревизій*». Я съ своей стороны никакихъ новыхъ условій предлагать «Русскому Слову» не намѣренъ; старыя-же наши условія состоятъ въ томъ, что я получаю 50 р. за печатный листъ и кромѣ того *четвертую долю* барышей, когда они окажутся въ наличности. Если ты этими существующими условіями недоволенъ, то это уже твое дѣло предлагать мнѣ новыя условія и мое дѣло принимать или не принимать ихъ. Поэтому прошу тебя или формулировать новыя условія, или объявить мнѣ, что мы остаемся при старыхъ. Я полагаю,

что наши отношенія основывались до сихъ поръ и должны основываться не на нравственной деликатности, а на нашей взаимной выгодѣ. Мнѣ выгодно работать за извѣстную плату въ извѣстномъ журналѣ, а издателю выгодно печатать мои работы, нравственная деликатность тутъ ни при чемъ. Что-же касается до твоей просьбы отъ увольненія тебя отъ полицейскихъ ревизій, то я безъ малѣйшаго труда могу ее исполнить, по той простой причинѣ, что я до настоящей минуты подобныхъ ревизій не производилъ. Если-же ты подразумѣваешь, что я подсылалъ въ твою квартиру полисмэновъ и личностей искусныхъ въ подсматриваніи, то мнѣ остается только пожалѣть о томъ, что ты разбрасываешь въ частной перепискѣ такія полемическія драгоцѣнности, которыя слѣдуетъ приберегать для печати.—Что никто не можетъ удерживать меня въ «Русскомъ Словѣ», это я прекрасно знаю и безъ твоихъ поясненій, но что я не имѣю ни малѣйшаго желанія отходить отъ такого журнала, которому впродолженіи четырехъ лѣтъ были посвящены всѣ мои умственныя силы и который отчасти обязанъ своимъ успѣхомъ моимъ работамъ, это, я думаю, ты понимаешь очень хорошо и безъ моихъ объясненій. Отойти теперь отъ «Русскаго Слова» значило-бы отказаться отъ жатвы съ того поля, которое я вспахалъ и засѣялъ вмѣстѣ съ тобою и другими нашими сотрудниками. Если твоя нравственная деликатность не возмущается подобными предложеніями, то я думаю, что на такой нравственной деликатности мудрено строить какія-бы то ни было прочныя отношенія.

«Поэтому я и предлагаю тебѣ для фундамента этихъ отношеній, вмѣсто нравственной деликатности, взаимную выгоду, что̀ совершенно согласно съ нашею общею теоріей послѣдовательной утилитарности и систематическаго эгоизма. — Наше объясненіе, происходившее 4-го августа, произвело между нами нѣкоторую холодность; если-бы отношенія наши были основаны на нравственной деликатности, то эта возрастающая холодность легко могла-бы привести за собою разрывъ, что, во всякомъ случаѣ, было бы съ нашей стороны непростительною глупостью и даже нарушеніемъ нашихъ общественныхъ обязанностей. Но такъ какъ намъ обоимъ не выгодно расходиться, то я надѣюсь, что мы не разойдемся. Любить другъ-друга мы, можетъ быть, совсѣмъ не будемъ, но это взаимное любленіе ни на что не нужно. Ты попрежнему будешь отыскивать и доставлять мнѣ какъ можно больше хорошихъ книгъ, для того, чтобы я писалъ въ твой журналъ занимательныя статьи; а я попрежнему буду писать какъ можно лучше, для того, чтобы пріобрѣтать себѣ деньги и извѣстность.

«Такъ какъ я не желалъ бы тратить время на дипломатическую переписку, то я и прошу тебя, если ты не имѣешь особенныхъ возраженій противъ моего сотрудничества въ «Русскомъ Словѣ», озаботиться о скорѣйшемъ доставленіи мнѣ матеріаловъ для статьи «О нашихъ литературныхъ нравахъ». Я полагаю, по зрѣломъ размышленіи, что вмѣсто статей о Контѣ и Боклѣ лучше-бы было дать рядъ статей о Шекспирѣ; во-первыхъ эти послѣднія были-бы удобнѣе в

цензурномъ отношеніи, а во-вторыхъ ихъ можно помѣстить во второй отдѣлъ, который такимъ образомъ окажется обезпеченнымъ почти на всю осень. На этотъ счетъ я желалъ-бы получить немедленный отвѣтъ. Статья «Школа и жизнь» отправлена; само собою разумѣется, что эту статью я кончу даже въ томъ случаѣ, если ты признаешь нужнымъ отказать мнѣ отъ «Русскаго Слова». Ты спрашиваешь у меня, не дамъ-ли я тебѣ 5 тысячъ взаймы. На этотъ вопросъ я отвѣчу тебѣ: не дамъ. Затѣмъ имѣю честь быть. 7-го августа 1865 г.»

О какомъ такомъ полицейскомъ надзорѣ говоритъ Благосвѣтловъ, понять довольно трудно, такъ какъ его письма, вызвавшаго отвѣтъ Писарева, не сохранилось. Основываясь однако на другихъ документахъ, имѣющихся у меня подъ рукой, я съ большой увѣренностью утверждаю, что о полицейскомъ надзорѣ Благосвѣтловъ заговорилъ вотъ почему: однажды — незадолго до разбираемаго эпизода—Писаревъ какъ-то мимоходомъ и безъ всякой задней мысли спросилъ въ письмѣ у Благосвѣтлова: «правда-ли, что у «Русскаго Слова» всего 1700 подписчиковъ? Неужели такъ мало? Если правда, то надо стараться во всю!» Этотъ вопросъ и показался Благосвѣтлову «полицейскимъ надзоромъ», такъ какъ, по его-же собственному обѣщанію, Писаревъ долженъ былъ получать четвертую часть чистаго дохода.

Такъ это или иначе—не знаю, несомнѣнно однако, что два послѣдніе года жизни Писарева Благосвѣтловъ держалъ себя по отношенію къ нему нѣсколько «неудобно». Направо и налѣво говорилъ онъ, что Писаревъ исписался, что ждать отъ него больше нечего, что теперь это уже не статьи, а компиляціи и пр. Мало того, онъ очевидно подыскивалъ себѣ новыхъ сотрудниковъ.

Писаревъ такой политики не могъ не замѣтить и, придравшись къ какому-то самому незначительному поводу, разорвалъ съ своимъ «патрономъ», очень повидимому удовлетвореннымъ тѣмъ, что ему уже не надо будетъ выплачивать четвертой части доходовъ,—и принялся за переводы и компиляціи, пока не нашелъ наконецъ себѣ новаго мѣста въ «Отечественныхъ Запискахъ».

По этому поводу Писаревъ писалъ Н. Шелгунову:

«Николай Васильевичъ! Я передъ вами виноватъ безъ оправданія. Вызвавшись, въ разговорѣ съ Л. П., заботиться объ интересахъ вашей умственной жизни, я до сихъ поръ не только не указалъ вамъ ни одной книги и не сказалъ вамъ ни одного дѣльнаго слова, но и вообще не отвѣтилъ толкомъ ни на одно изъ вашихъ писемъ. Теперь я пишу къ вамъ, чтобы сообщить извѣстіе, которое, по всей вѣроят-

ности, будетъ вамъ очень непріятно, и можетъ быть значительно уронитъ меня въ вашихъ глазахъ. Я разошелся съ тѣмъ журналомъ, въ которомъ мы съ вами работали, и долженъ вамъ признаться, что разошелся не изъ принциповъ и даже не изъ-за денегъ, а просто изъ-за личныхъ неудовольствій съ Григоріемъ Евлампіевичемъ (Благосвѣтловымъ). Онъ поступилъ невѣжливо съ одною изъ моихъ родственницъ, отказался извиниться, когда я этого потребовалъ отъ него, и тутъ же замѣтилъ мнѣ, что если отношенія мои къ журналу могутъ поколебаться отъ каждой мелочи, то этими отношеніями нечего и дорожить. У меня уже заранѣе было рѣшено, что если Г. Е. не извинится, я покончу съ нимъ всякія отношенія. Когда я увидѣлъ изъ его словъ, что онъ считаетъ себя за олицетвореніе журнала и смотритъ на своихъ главныхъ сотрудниковъ, какъ на наемныхъ работниковъ, которыхъ въ одну минуту можно замѣнить новымъ комплектомъ поденщиковъ, то я немедленно раскланялся съ нимъ, принявши мѣры къ обезпеченію того долга, который остался на мнѣ. Эта исторія произошла въ послѣднихъ числахъ мая. Такъ какъ я не имѣю возможности содержать въ Петербургѣ цѣлое семейство, то моя мать и младшая сестра въ началѣ іюня уѣхали въ деревню, а я остался, ищу себѣ переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешній адресъ мой: На Малой Таврической, домъ № 23, кв. № 2. Вы можетъ быть скажете, Николай Васильевичъ, что изъ любви къ идеѣ мнѣ слѣдовало бы уступить и уклониться отъ разрыва. Можетъ быть, это дѣйствительно было бы болѣе достойно серьезнаго общественнаго дѣятеля. Но признаюсь вамъ, что я на это не способенъ».

Какъ-бы то ни было, разрывъ произошелъ. Писаревъ, создавшій «Русское Слово», придавшій ему физіономію, безъ которой оно не имѣло-бы ни малѣйшаго права на самостоятельное существованіе, долженъ былъ оставить свой собственный журналъ. Это любопытный фактъ въ исторіи нашей литературы, къ сожалѣнію не единственный. Вѣдь за нѣсколько лѣтъ передъ этимъ то-же самое случилось съ Бѣлинскимъ. Любопытно, что оба эпизода даже въ мелочахъ похожи другъ на друга. Все равно какъ Благосвѣтловъ направо и налѣво распускалъ слухи, что Писаревъ выдохся и готовъ былъ похоронить его живымъ, такъ точно поступалъ и Краевскій въ отношеніи къ Бѣлинскому. Все равно какъ «Отечественныя Записки» 40-хъ годовъ были созданы Бѣлинскимъ, такъ и «Русское Слово» было создано Писаревымъ. Тому и другому, и Бѣлинскому, и Писареву пришлось испытать всю «черную» неблагодарность со стороны предпринимателей, составившихъ уже себѣ состояніе ихъ трудами и вдохновеніемъ. Какъ литературные работники, они, несмотря на талантъ, несмотря на привязанность и восторги публики, оказались безсильны въ борьбѣ съ издательскимъ капризомъ и

мошной. Капризъ и мошна побѣдили: высосавъ изъ Писарева и Бѣлинскаго лучшіе соки, Краевскій и Благосвѣтловъ выбросили ихъ чуть не на мостовую. Какъ угодно, а это недурная иллюстрація къ нашей литературной организаціи.

«Но что-же, скажетъ читатель, оставивъ одинъ журналъ, всегда можно найти другой: Бѣлинскій переселился въ *Современникъ*, Писаревъ въ *Отечественныя Записки...*»

Подобное разсужденіе доказываетъ полное незнакомство съ психологіей журналиста. Какъ морякъ привязывается къ своему кораблю и находитъ его самымъ красивымъ изъ всѣхъ, какъ каждый изъ насъ привязывается къ своему дому, земледѣлецъ къ своей пашнѣ и своему хозяйству — такъ и журналистъ къ своему журналу. Лишь работая въ немъ, чувствуетъ онъ полноту свободы. У него уже есть своя публика, свои поклонники, которые привыкли къ нему, понимаютъ его съ полуслова, извинятъ ему оплошность, лучше другихъ оцѣнятъ его достоинства. Въ своемъ журналѣ ему уже не приходится тратить силъ на приспособленіе: въ новомъ мѣстѣ это необходимо. Не всегда къ тому-же бываетъ легкимъ дѣломъ отыскать новое мѣсто. Такъ и случилось съ Писаревымъ.

Оставивъ «Дѣло», онъ очутился не у дѣлъ. Всякій заурядный писатель нашелъ-бы себѣ мѣсто въ какомъ-нибудь изъ второстепенныхъ журналовъ, но Писареву нужно было занимать или первое мѣсто, или никакого; первое-же мѣсто было возможно для него лишь въ «Дѣлѣ», единственномъ по направленію журналѣ, въ которомъ Писаревъ могъ-бы найти себѣ полный просторъ. Отказываясь-же отъ «Дѣла», приходилось отказываться и отъ журналистики и какъ разъ въ такое время, когда она походила на утлый челнъ, получившій пробоину. «Современникъ» «Русское Слово» были закрыты окончательно, остались только «Отечественныя Записки», «Литературная Библіотека», «Библіотека для чтенія», «Женскій Вѣстникъ», «Русскій Вѣстникъ», въ которыхъ для писателей «Современника» и «Русскаго Слова» мѣста быть не могло. «Дѣло», едва возникшее на развалинахъ «Русскаго Слова», не могло одно спасти утлаго челна, готоваго, казалось, совсѣмъ погибнуть. Но нужно сказать къ чести «Дѣла», что оно энергично боролось за собственное существованіе и подавало признаки сильной живучести. Мѣсто «Современника» пока еще не было занято, но и въ его сотрудникахъ сказывалась живая струйка, и во всякомъ слу-

чаѣ люди вѣрили, надѣялись, и пожалуй и знали, что пробоина въ утломъ челнѣ будетъ задѣлана и челнъ не утонетъ.

Вотъ къ этому-то времени, Писаревъ, въ ноябрѣ 1867 г., опять писалъ Шелгунову:

«Николай Васильевичъ! Я все лѣто собирался написать къ вамъ, а осенью уже пересталъ собираться и подумалъ, что должно быть не напишу никогда. Вчера я получилъ ваше письмо и сегодня отвѣчаю на него. Вы желаете знать подробности о положеніи нашей журналистики. Я самъ стою теперь въ сторонѣ отъ нея. Съ «Дѣломъ» я разошелся въ концѣ мая вслѣдствіе личныхъ неудовольствій, и съ тѣхъ поръ не сходился съ нимъ. Получая книжки «Дѣла» и видя мое имя въ каждой изъ нихъ, вы могли думать, что мы помирились. Но этого нѣтъ и вѣроятно не будетъ. Въ «Дѣлѣ» печаталась и печатается до сихъ поръ моя большая историческая работа, которая была отдана туда за долго до нашего разрыва, и которую я не считалъ себя въ правѣ брать назадъ, тѣмъ болѣе, что начало ея было уже отпечатано. Я не участвую ни въ «Дѣлѣ». ни въ какомъ-бы то ни было другомъ журналѣ. Что-же у насъ теперь кромѣ «Дѣла» есть въ журналистикѣ? «Отечественныя Записки» —извѣстный вамъ разлагающійся трупъ, въ которомъ скоро и червямъ нечего будетъ ѣсть. «Всемірный Трудъ», въ которомъ роль перваго критика играетъ Николай Соловьевъ; «Литературная Библіотека» или вѣрнѣе собраніе литературныхъ инсинуацій и абсурдовъ; «Женскій Вѣстникъ», котораго издательница ведетъ постоянно до сорока процессовъ въ мировыхъ судахъ по поводу отжиливанья денегъ.

Все, что здѣсь доступно оку,
Спитъ, покой цѣня;
Нѣтъ, не дряхлому востоку
Покорить меня!

«И конечно не этимъ журналамъ заманить меня. Есть дѣйствительно слухи о томъ, что затѣвается новый журналъ, въ которомъ будутъ участвовать нѣкоторые изъ прежнихъ сотрудниковъ «Современника». Но эти слухи много разъ проносились и оказывались ложными или, по крайней мѣрѣ, преждевременными. Какъ-бы то ни было, но до сихъ поръ я не получилъ никакого приглашенія участвовать въ этомъ ожидаемомъ журналѣ. И вѣроятно я его не получу. Партія «Современника» меня не любитъ и нѣсколько разъ доказывала печатно, что я очень глупъ. Искренно-ли было это мнѣ-

ніе—не знаю, но во всякомъ случаѣ сомнѣваюсь, чтобы Антоновичъ и Жуковскій захотѣли работать со мною въ одномъ журналѣ»...

Писаревъ не жалуется. Онъ находитъ еще въ себѣ силу шутить. Но пусть хотя бы на основаніи общечеловѣческой психологіи, читатель постарается проникнуть въ его душу. Одна жестокая необходимость, оставивши первое мѣсто въ журналистикѣ и возможность постояннаго общенія съ читателемъ, заниматься переводами ради куска хлѣба—можетъ сломить всякаго. Писаревъ похожъ на рыбу, выброшенную на берегъ. Удружилъ ему «его Благосвѣтліе», какъ онъ звалъ своего патрона, удружилъ и остался, какъ нельзя болѣе, доволенъ собою...

* * *

О послѣднихъ-же годахъ жизни Писарева интересные факты сообщаетъ А. М. Скабичевскій.

«Изрѣдка я навѣщалъ Писарева послѣ освобожденія его изъ крѣпости. Онъ повезъ меня даже къ Благосвѣтлову съ цѣлью пристроить къ «Русскому Слову». Я провелъ у Благосвѣтлова цѣлый вечеръ, созерцая, какъ Писаревъ со своимъ патрономъ и — не помню—еще съ какими-то двумя партнерами игралъ въ преферансъ и проигралъ нѣсколько рублей. Я и прежде былъ предубѣжденъ противъ Благосвѣтлова, — слышалъ, какъ онъ скаредно расплачивается съ сотрудниками и относится къ нимъ довольно грубо и пренебрежительно и какъ эксплоатируетъ Писарева, пользуясь скромностью его по требностей и безсребренностью. Лично онъ произвелъ на меня въ свою очередь отталкивающее впечатлѣніе: и во всей фигурѣ его, и въ разговорахъ, и въ самой обстановкѣ комнатъ, способѣ игры, скудномъ ужинѣ, какимъ закончился вечеръ,—было что-то грубоватое, аляповатое, собакевичевское, и вмѣстѣ съ тѣмъ прижимистое, скаредное...

«Онъ пригласилъ меня писать рецензіи о новыхъ книгахъ и компилятивныя статьи въ «Русскомъ Словѣ»; я отвѣтилъ согласіемъ, но не спѣшилъ приступить къ дѣлу, а затѣмъ вскорѣ былъ приглашенъ Некрасовымъ въ «Современникъ» и предпочелъ его «Русскому Слову».

«Послѣ каракозовскаго выстрѣла началось смутное время, аресты, прекращеніе журналовъ и пр. Въ этотъ годъ я очень рѣдко видѣлся съ Писаревымъ; не помню, былъ ли у него хоть разъ осенью и зимою 1866 года. Но весною 1867 года я какъ-то забрелъ къ нему

утромъ и засталъ его въ состояніи сильной хандры и раздражительности. Онъ жаловался, что ничего у него не пишется: напишетъ страницу и сейчасъ же разорветъ.

«— А все причиной моя несчастная любовь!—воскликнулъ онъ съ той прозрачной откровенностью, какою всегда отличался:—такъ ужъ вѣрно суждено мнѣ въ жизни—влюбляться въ своихъ кузинъ и каждый разъ безуспѣшно... А я чувствую, что строчки не напишу, пока не добьюсь торжества своей любви.

«Вскорѣ послѣ этого визита онъ переѣхалъ съ Петербургской стороны къ Марьѣ Александровнѣ Марковичъ, — и мнѣ ни разу болѣе не пришлось быть у него. Въ томъ же 1867 году онъ разошелся съ Благосвѣтловымъ и былъ приглашенъ Некрасовымъ въ «Отечественныя Записки».

«Сторонники «Русскаго Слова», превратившагося въ 1867 году въ «Дѣло», говорили, что, перейдя въ «Отечественныя Записки», Писаревъ совсѣмъ пересталъ быть прежнимъ Писаревымъ, увялъ и обезцвѣтился. Но это было одно пустое злорѣчіе. Если и въ самомъ дѣлѣ послѣдніе три года жизни Писарева не ознаменовались никакимъ яркимъ проявленіемъ его таланта, то какія бы обстоятельства ни были причиною этого, во всякомъ случаѣ переходъ въ «Отечественныя Записки» былъ тутъ не причемъ. Сильно сомнѣваюсь я, чтобы Благосвѣтловъ могъ имѣть на Писарева какое бы то ни было вдохновляющее вліяніе, а что платилъ онъ ему за статьи, составлявшія главную силу и украшеніе «Русскаго Слова», возмутительно мало и скаредно, этого никто не оспоритъ. «Отечественныя Записки», обѣщая Писареву не въ примѣръ большее матеріальное обезпеченіе, въ то же время предоставляли полный просторъ для его пера. Онъ могъ быть спокоенъ, что каждая статья его, что бы онъ ни написалъ, будетъ съ радостью принята.

«Но правда и то, что, несмотря на все это, Писареву всетаки въ «Отеч. Запискахъ» было не по себѣ, и это очень понятно. Въ «Русскомъ Словѣ» его хотя и обсчитывали, но за нимъ всетаки ухаживали, устраивали нарочно для него карточные вечера по маленькой, смотрѣли на него снизу вверхъ, и онъ рядомъ съ прочими сотрудниками чувствовалъ себя великаномъ среди пигмеевъ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» передъ такими престарѣлыми уже корифеями, какъ Некрасовъ, Салтыковъ, Елисѣевъ,—Писаревъ чувствовалъ себя хотя и талантливымъ, но всетаки молодымъ. Поэтому онъ никогда почти не бывалъ въ редакціи «Отечественныхъ

Записокъ». Только два раза видѣлъ я его въ квартирѣ Некрасова: разъ это было на первомъ обѣдѣ, который далъ Некрасовъ своимъ сотрудникамъ по выходѣ первой книжки «Отечественныхъ Записокъ» подъ новой редакціей въ 1868 году. Писаревъ сидѣлъ на этомъ обѣдѣ рядомъ со мною, молчаливый, сосредоточенный, нѣсколько даже растерянный среди людей мало ему знакомыхъ, между которыми къ тому же были такія личности, какъ Салтыковъ, къ которымъ онъ такъ недавно еще относился съ самыми безпощадными сарказмами въ разгаръ своей полемики съ «Современникомъ».

«Въ другой разъ я встрѣтилъ Писарева въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ» въ одинъ изъ понедѣльниковъ, когда члены редакціи и сотрудники собирались обыкновенно отъ двухъ до четырехъ часовъ, весною въ апрѣлѣ или маѣ 1868 года. Онъ влетѣлъ въ редакцію на этотъ разъ такой веселый и оживленный, какимъ я его давно не видѣлъ.—«Должно быть—подумалъ я невольно—онъ дождался праздника своей любви!»—Пришелъ онъ съ цѣлью проститься передъ своимъ отъѣздомъ на лѣто въ Дуббельнъ на морскія купанья. Восторженное расположеніе духа его, «сіяніе», какъ онъ самъ выражался о подобныхъ моментахъ своей жизни, еще болѣе просіяло, когда вошла въ редакцію совершенно незнакомая ему дѣвушка съ большимъ поясным фотографическимъ портретомъ его и, узнавши подлинникъ, подошла къ нему съ робкою просьбою подписаться подъ портретомъ, что Писаревъ тотчасъ же конечно охотно исполнилъ. Самолюбіе его естественно было польщено этимъ проявленіемъ популярности его, тѣмъ болѣе, что оно произошло въ глазахъ людей, передъ которыми Писареву особенно должно было быть пріятно заявить свою популярность. Въ этомъ отношеніи, надо правду сказать, поклонница его не могла избрать болѣе счастливаго момента для того дѣла, съ которымъ явилась къ Писареву. Кто она? жива-ли? и если жива, гдѣ она? Помнитъ-ли этотъ эпизодъ въ своей жизни? Во всякомъ случаѣ большое ей спасибо за то, что она доставила лишнее свѣтлое мгновеніе человѣку, который вполнѣ заслужилъ такого почета, какой она ему оказала.

«Думалъ-ли я въ то время, что вижу Писарева въ послѣдній разъ? Въ то-же лѣто его не стало. Онъ, какъ извѣстно, утонулъ, купаясь въ морѣ, въ Дуббельнѣ, гдѣ проводилъ лѣто. Замѣчателенъ въ этомъ отношеніи тяготѣвшій надъ нимъ фатумъ: три раза въ своей жизни онъ подвергался опасности утонуть. Въ первый разъ онъ едва не

утонулъ въ дѣтствѣ, купаясь въ рѣчкѣ, въ деревнѣ на своей родинѣ, его вытащилъ уже полумертваго мужикъ. Во второй разъ онъ подвергся опасности утонуть, будучи въ первомъ курсѣ университета. Извѣстно, что въ университетъ онъ поступилъ очень рано—пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ. И вотъ такой студентъ-отрокъ однажды весною, незадолго до вскрытія рѣкъ, шелъ черезъ Неву и вздумалось ему испробовать прочность льда, затянувшаго тонкимъ слоемъ тѣ продольныя полыньи, какія весною устраиваются для предстоящей разводки мостовъ. Онъ ступилъ обѣими ногами въ полынью, и тотчасъ же провалился по-горло. И опять таки явился на помощь спасительный мужикъ, шедшій сзади, и вытащилъ барина за воротникъ пальто.

«На третій разъ въ Дуббельнѣ спасительнаго мужика не оказалось. Замѣчательно, что въ то время, какъ другіе тонутъ, оттого что не умѣютъ плавать, Писаревъ напротивъ того обязанъ своею смертію именно тому, что былъ слишкомъ хорошій и отважный пловецъ. Вотъ какъ произошла печальная катастрофа, какъ мнѣ передавали потомъ близкіе люди Писарева, жившіе съ нимъ въ Дуббельнѣ. Купальное мѣсто, гдѣ бралъ морскія ванны Писаревъ, было расположено такъ, что съ берега на нѣкоторое разстояніе было мелко; затѣмъ слѣдовалъ глубокій фарватеръ. За нимъ—мель; далѣе—опять глубокое мѣсто, опять мель. Будучи хорошимъ пловцомъ, Писаревъ такимъ образомъ переплывалъ два или три фарватера, отдыхая на каждой промежуточной мели. Такъ случилось и на этотъ разъ: судя по тому, гдѣ было найдено его тѣло, можно заключить, что онъ благополучно переплылъ два глубокія мѣста, а въ третьемъ утонулъ,—вслѣдствіе-ли нервнаго удара или судорогъ осталось покрытымъ мракомъ неизвѣстности. Онъ пошелъ купаться одинъ; мѣсто, гдѣ онъ купался, было пустынное, и въ то-же время онъ такъ далеко уплылъ, что никто не замѣтилъ, когда онъ погрузился въ воду. Лишь продолжительное отсутствіе его возбудило тревогу въ близкихъ; начались поиски, причемъ тѣло его было найдено и вынуто изъ воды рыбаками по прошествіи многихъ часовъ послѣ несчастія. Это былъ вполнѣ уже бездыханный трупъ, и о спасеніи жизни утопшаго нечего было и думать.

«Таинственная смерть Писарева не замедлила возбудить массу нелѣпѣйшихъ слуховъ и сплетенъ въ литературныхъ кружкахъ. Такъ напримѣръ, и до сихъ поръ многіе подозрѣваютъ, что Писа-

ревъ сознательно наложилъ на себя руки, умышленно утопился. Но это подозрѣніе лишено всякихъ основаній. Правда, что послѣ психической болѣзни въ студенческіе годы, отъ которой Писаревъ лечился въ больницѣ Штейна, у него оставались на всю жизнь нѣкоторые признаки психической ненормальности. Онъ вполнѣ оправдывалъ въ этомъ отношеніи теорію Ломброзо, что геніи и талантливые люди по самой природѣ своей — люди психически больные. Но ненормальности эти имѣли самый невинный характеръ, выражаясь лишь въ минутныхъ странностяхъ и чудачествахъ всякаго рода. То напримѣръ вдругъ ни съ того ни съ чего, бросивъ спѣшную работу, увлекался онъ ребяческимъ занятіемъ раскрашиванья красками политипажей въ книгахъ; то, отправляясь лѣтомъ въ деревню, заказывалъ портному лѣтнюю пару изъ ситца яркихъ колеровъ, изъ какихъ деревенскія бабы шьютъ сарафаны. По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ пришелъ въ крайне возбужденное состояніе, выразившееся рядомъ совершенно несообразныхъ поступковъ: за обѣдомъ напримѣръ въ одномъ домѣ, кажется у Благосвѣтлова, онъ смѣшалъ на одну тарелку всѣ кушанья и ѣлъ эту мѣшанину, началъ вдругъ раздѣваться въ обществѣ и т. п. Но это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободою, вошелъ въ свою колею. Но при всѣхъ этихъ чудачествахъ никогда не былъ онъ подверженъ мрачной меланхоліи, пессимизму, отчаянію. Въ общемъ настроеніе духа его было всегда полно жизнерадостнаго сознанія своихъ богатыхъ силъ, таланта и популярности. Сіялъ онъ, уѣзжая въ Дуббельнъ «для поправленія расшатанныхъ нервовъ», какъ онъ объяснялъ выборъ дачной мѣстности, сіялъ и въ день смерти. По крайней мѣрѣ, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, какія я имѣю, отправляясь купаться, онъ былъ особенно веселъ, оживленъ и доволенъ собою и всѣмъ окружавшимъ его, однимъ словомъ пилъ съ наслажденіемъ полную чашу жизни».

Онъ умеръ 4-го іюля 1868 года.

Писарева схоронили на Волковомъ кладбищѣ. Благосвѣтловъ въ день похоронъ писалъ Н. В. Шелгунову: «Сегодня похоронили Писарева. Свинцовый гробъ его (около 40 пудовъ) несли до самой могилы, верстъ пять, молодые люди и даже молодыя дамы помогали. Человѣкъ двѣсти шло за гробомъ, и я радовался, что кружокъ умныхъ и честныхъ людей понемногу растетъ. При похоронахъ Добролюбова, несмотря на то, что онѣ были въ ноябрѣ, т. е. при полномъ

сборѣ людей, понимающихъ его, я видѣлъ не болѣе 50-ти человѣкъ. Послѣ нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ мною надъ могилой Писарева, двѣ дамы, заливаясь слезами, бросились на его могилу и стали цѣловать ее. Я дальше не могъ говорить и самъ заплакалъ».

Тутъ-же, на могилѣ, во время похоронъ была открыта подписка, но не на памятникъ, а для стипендіи имени Писарева. «И безъ памятника не потеряется его могила, — писалъ Благосвѣтловъ, — а это все, что нужно. Собрано было на могилѣ рублей 700, и авось цифра достигнетъ того итога, какой нуженъ хоть для уплаты двухъ матрикулъ двумъ бѣднымъ студентамъ».

«Какая удивительная судьба, — прибавляетъ отъ себя Н. В. Шелгуновъ. — Въ 1860—61 гг. (будучи 20-ти лѣтъ) Писаревъ, едва выступившій въ журналистику, сразу обращаетъ на себя вниманіе, слѣдующіе затѣмъ 4 года онъ проводитъ въ заключеніи и создаетъ себѣ громкую извѣстность и широкое вліяніе; обезсиленный излишне-напряженной нервной жизнью, Писаревъ выходитъ на свободу съ надорванными силами, а черезъ $1^1/_2$ года друзья и почитатели уже плачутъ надъ его могилой. Едва-ли есть другой примѣръ такъ быстро и ярко изгорѣвшей человѣческой жизни, лишенной всего того, что люди обыкновенно зовутъ счастьемъ. У Писарева не было личной жизни, и въ обыденномъ, и въ необыденномъ смыслѣ; сначала онъ къ чему-то готовился, потомъ напряженно думалъ, потомъ, охваченный нахлынувшими впечатлѣніями, которыхъ онъ былъ лишенъ впродолженіи 4-хъ лѣтъ, потерялъ равновѣсіе и внезапно умеръ. И это чувство жизни, оставшееся неудовлетвореннымъ и постоянно напоминавшее о себѣ, служитъ разгадкою характера Писарева и характера его думъ и размышленій. Онъ кажется и въ самомъ дѣлѣ считалъ себя глубокимъ эгоистомъ и по убѣжденію, и по природѣ. Какъ-же поступалъ этотъ глубокій эгоистъ и на что истратилъ онъ свою жизнь? Всю эту жизнь, всѣ свои силы, Писаревъ истратилъ, проповѣдуя, несмотря ни на что и въ безвыходномъ уединеніи, свою честную идею, къ которой онъ шелъ прямо, не оглядываясь ни назадъ, ни впередъ, къ своей цѣли. На могилѣ другого такого-же эгоиста Добролюбова Некрасовъ сказалъ: «Бѣдное дѣтство въ домѣ бѣднаго сельскаго священника, бѣдное, полуголодное ученье; потомъ 4 года лихорадочнаго неутомимаго труда и наконецъ годъ за-границей, проведенный въ предчувствіяхъ смерти—вотъ и вся біографія Добролюбова».

Писарева похоронили противъ Добролюбова черезъ дорожку. Три героя мысли — Бѣлинскій, Добролюбовъ и Писаревъ спятъ рядомъ вѣчнымъ сномъ!...

Теперь, прежде чѣмъ перейти къ оцѣнкѣ роли Писарева въ исторіи русскаго просвѣщенія, позволю себѣ дать его характеристику, *какъ личности.*

По приложенному портрету читатель видитъ, что онъ обладалъ красивымъ, умнымъ и благороднымъ лицомъ. Его манеры, нѣсколько развязныя въ студенческіе годы, стали впослѣдствіи сдержанными, такъ что своей внѣшностью онъ въ полномъ смыслѣ этого слова напоминалъ джентльмэна. Шелгуновъ, встрѣтивъ его въ 1861 г., разсказываетъ о своей встрѣчѣ слѣдующее: «Разъ утромъ я зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ, яснымъ лицомъ, большимъ хорошо очерченнымъ умнымъ лбомъ и съ большими умными, красивыми глазами. Юноша держалъ себя нѣсколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ. Благосвѣтловъ назвалъ насъ по фамиліи, мы пожали другъ другу руки и перекинулись какими-то незначительными фразами». Этотъ красиво нарисованный Шелгуновымъ портретъ Писарева можетъ дать читателю наилучшее представленіе о его внѣшности. Самоувѣренная, спокойная гордость сознающаго свою силу таланта выражалась въ его лицѣ, во всей его фигурѣ. «Его что-то приподнимало»—говоритъ Шелгуновъ, и мы легко понимаемъ, что этимъ «что-то» была юность и неизвѣданная еще глубина волнующихся силъ. Наружность Писарева, какъ и его слогъ, отличались того-же уравновѣшенною страстностью и тою-же смѣлою самоувѣренностью бойца, безъ всякой торопливости и нервности — этихъ вѣрныхъ признаковъ мелкихъ душъ и робкихъ характеровъ.

Казалось-бы, что человѣкъ, обладающій такой наружностью и такимъ блестящимъ талантомъ, какъ Писаревъ, долженъ былъ пользоваться большимъ успѣхомъ среди женщинъ. Однако исторія его несчастной любви доказываетъ, что дѣло обстояло совершенно иначе. Онъ возбуждалъ лишь платоническіе восторги и привязанности. Какъ Тургеневъ, онъ былъ «однолюбцемъ»; страсть къ одному существу всецѣло овладѣвала имъ и поглощала его. Ничего донъ-жуанскаго не

было въ его натурѣ, чтобы ни говорилъ онъ о своемъ эпикуреизмѣ. Женщины увлекались не имъ, а его талантомъ, ореоломъ его славы, доходили въ своемъ увлеченіи до колѣнопреклоненія. Съ ихъ сторонъ это была привлекательная дань умственной силѣ, тѣмъ болѣе привлекательная, что она основана на чистыхъ стремленіяхъ души.

Отношенія Писарева къ кузинѣ и матери показываютъ, что онъ былъ способенъ на привязанность безъ измѣны и уклоненія. Мать онъ любилъ горячо, страстно, въ тяжелыя минуты жизни онъ обращался къ ней съ письмами и признаніями, глубиной своего чувства напоминающими признанія Некрасова. Одинаково сердечно относился онъ всегда и къ своему отцу, и къ своимъ сестрамъ. Онъ внимательно слѣдилъ за развитіемъ послѣднихъ, помогая имъ, гдѣ могъ, своими совѣтами, книгами, деньгами.

Честолюбіе не мучило его, но онъ зналъ себѣ цѣну и требовалъ ея признанія. Быстрый, имѣющій мало подобныхъ себѣ въ исторіи литературы успѣхъ не вскружилъ ему головы, а напротивъ, какъ здоровому человѣку, придалъ еще больше силъ, еще больше желанія работать на томъ поприщѣ, гдѣ его сразу встрѣтили съ изумленіемъ и восторгомъ, злобою, негодованіемъ и завистью. Въ немъ была чудная черта мужества жизни, не дававшая ему впадать въ уныніе. Онъ сильно и бодро смотрѣлъ въ глаза будущему, готовый на все, удачи и неудачи, радости и испытанія. Перечтите его письма изъ крѣпости, припомните его гордыя слова послѣ прекращенія «Русскаго Слова». Только непомѣрная работа подточила его силы и мужество, но не неудачи. Годъ или два полнаго отдыха, вотъ все, что ему нужно было, чтобы засвѣтить попрежнему, но увы—не въ наше торгашеское время можно отдохнуть, и сколько силъ, сколько талантовъ упало измученными среди дороги, сколько плетутся по ней, утерявъ бодрость и вѣру отъ простаго переутомленія...

Обычныя явленія нашей русской душевной жизни, извѣстныя подъ именемъ «больная совѣсть», «больной умъ», «больная душа», не были, къ счастью, знакомы Писареву. Живя въ душной атмосферѣ, привыкшіе вдыхать всякую копоть и всякій чадъ, иные выработали совершенно особенное мѣрило для людей. Они цѣнятъ и такихъ, кто совершенно подавленъ жизнью, кто утерялъ всякую смѣлость и бодрость душевную, кто не смѣетъ признать своего права на личное счастье, кто ушелъ въ уголъ и страдаетъ тамъ, униженный и приг-

нетенный. Отчасти они правы. Но для жизни безконечно дороже другіе—бодрые и смѣлые, готовые на борьбу и побѣду, съ сильно развитымъ чувствомъ своего достоинства, своихъ неотъемлемыхъ правъ на свѣжій воздухъ, на широкое, человѣческое существованіе.

Къ такимъ принадлежалъ Д. И. Писаревъ. Онъ не казнился неоплатнымъ долгомъ передъ народомъ, не давалъ гнетущимъ впечатлѣніямъ жизни давить себя. Не закрывая на нихъ глаза, онъ въ то-же время не боялся ихъ.

Жилъ онъ всегда очень скромно, то въ меблированной комнаткѣ, то въ мазановскихъ нумерахъ, то въ крошечныхъ квартиркахъ. Получая 1500—2000 въ годъ (всего!), онъ и не могъ жить иначе и былъ доволенъ. Семья, книги, работа — вотъ его идеалъ. Знакомыхъ у него было немного, и вообще онъ не легко сходился съ людьми, но рѣдкимъ качествомъ — способностью пріобрѣтать друзей и оставаться имъ вѣрнымъ,—онъ обладалъ въ большой степени. Онъ былъ сердечной натурой, несмотря на свою строгость въ отношеніи къ людямъ.

Вотъ все, что мнѣ хотѣлось сказать о личности Писарева. Надѣюсь, біографія его доказала читателю, что онъ былъ не только большимъ писателемъ, но и большимъ человѣкомъ. Правдивость и мужество—рѣдкія качества, какъ самородныя глыбы золота—служили лучшимъ украшеніемъ его характера. Но правдивость и мужество создаютъ большихъ людей. Ни то ни другое не доступно маленькимъ, робкимъ смертнымъ.

XI.

Заключеніе.

Формально трудъ мой законченъ. Я разсказалъ читателю, какъ родился, жилъ и работалъ Писаревъ и какъ трагически умеръ онъ. Но мнѣ хочется прибавить еще нѣсколько страницъ къ своему «очерку» и опредѣлить мѣсто Писарева въ исторіи умственнаго развитія Россіи. Я постараюсь доказать, что мѣсто это большое и что въ критическихъ статьяхъ Писарева развита очень любопытная и поучительная основа философско-исторической системы. Но сначала, въ какомъ отношеніи стоялъ Д. И. Писаревъ къ своему времени, т. е. къ 60-мъ годамъ, и что это за годы?

Между сороковыми и шестидесятыми годами—разница вообще очень существенная. Въ настоящую минуту напримѣръ мы гораздо ближе къ первымъ, чѣмъ къ послѣднимъ. Шестидесятые годы мы не прочь даже развѣнчивать, и наши современные гимназисты ясно представляютъ себѣ «всѣ ихъ крайности и увлеченія». Указываютъ на криминальные проступки: развѣнчаніе Пушкина и Лермонтова, ожесточенные нападки на Тургенева, утверждаютъ даже, что тогда сапоги предпочитались Шекспиру, что́ впрочемъ несправедливо. Но главная бѣда шестидесятыхъ годовъ — это преклоненіе передъ пользой. «Польза, польза, — патетически восклицаетъ г. Мережковскій.—Чей свѣтлый умъ не помрачало это слово въ нашъ вѣкъ?» И свѣтлые умы шестидесятыхъ годовъ находились въ помраченіи отъ этого ужаснаго призрака. Что у нихъ за идеалы? «Искусство должно служить жизни», «человѣкъ обязанъ стремиться къ общему благу» — Боже мой, скука какая! Какъ все это мелко, утилитарно, какъ малъ размахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, какая ожесточенная, узкая нетерпимость. «Современникъ» громитъ Тургенева, онъ же чуть не

съ пѣной у рта набрасывается на Писарева; Писаревъ въ лоскъ отдѣлываетъ Щедрина, каждый мѣсяцъ раздается вызывающій свистъ. Словомъ—что-то ужасное, ни съ чѣмъ не сообразное. Разсмотрѣть же за всѣмъ этимъ ужаснымъ и несообразнымъ живое человѣческое начало, глубокую вѣру, хотѣвшую горы сдвинуть съ мѣста,—не легко. Нападать гораздо легче, тѣмъ болѣе, что угловатостей у шестидесятниковъ — сколько угодно.

Люди сороковыхъ годовъ первые почувствовали, что они чужды этой начинавшейся новизнѣ. Тургеневъ разсорился съ «Современникомъ», Григоровичъ оставилъ литературу, «обожаемому» 20 лѣтъ тому назадъ Пушкину былъ брошенъ гордый вызовъ. Даже Лермонтовъ, повторяю, не уцѣлѣлъ, въ чемъ были повинны впрочемъ не шестидесятые годы, а Зайцевъ, состоявшій при Писаревѣ въ качествѣ адъютанта и ежеминутно готовый доводить до абсурда его точку зрѣнія. Теперь причина этого разрыва между двумя поколѣніями для насъ ясна. Попробуемъ оформулировать ее.

Сороковые годы отличались немалой отвлеченностью. Гегель былъ объявленъ царемъ мысли. Къ нему обращались всѣ мыслящіе и чувствующіе люди за рѣшеніемъ всѣхъ своихъ сомнѣній, какъ къ новому дельфійскому оракулу, и вопрошали его: «что есть истина?». Къ сочиненіямъ Гегеля подходили «со страхомъ и вѣрою», какъ выразился Огаревъ, и готовы были «стоять предъ нимъ на колѣняхъ», какъ говоритъ Грановскій. «Есть вопросы, — писалъ послѣдній, — на которые человѣкъ не можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта. Ихъ не рѣшаетъ и Гегель, но все, что доступно теперь знанію человѣка, и самое знаніе у него чудесно объяснено». Изученіе философіи Шеллинга и Гегеля превратилось въ настоящій культъ. Философскія системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожныя книженки о Гегелѣ «исправно выписывались и зачитывались до дыръ, до пятенъ въ нѣсколько дней». Увлеченіе доходило до смѣшного: «всякое простое чувство возводилось въ категоріи», все опредѣлялось по субстанціямъ, гуляли не для того, чтобы освѣжиться и отдохнуть, а чтобы «отдаться пантеистическому чувству единства съ космосомъ». Все это любопытно и поучительно. Гегеліанская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опять-таки тѣ-же шестидесятые годы въ извѣстной статьѣ г. Антоновича не только попытались развѣнчать Гегеля, но и обратить его въ ничто. Въ искусствѣ сороковыхъ

годовъ Гегель также былъ учителемъ. Съ его точки зрѣнія, цѣль искусства — воспроизводить прекрасное, проявлять гармонію. Таково его единственное назначеніе. Всякая другая цѣль: очищеніе, нравственное совершенствованіе, поучительность,—только подробности, аксессуары или слѣдствія. Созерцаніе красоты вызываетъ въ насъ тихое и чистое наслажденіе, несовмѣстимое съ грубыми удовольствіями чувственнаго характера: оно поднимаетъ душу надъ обычною сферою ея помысловъ, предрасполагаетъ ее къ благороднымъ рѣшеніямъ и великодушнымъ поступкамъ путемъ тѣснаго сродства, существующаго между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповѣданіемъ вѣры людей 40 годовъ, оттого-то Бѣлинскій и написалъ между прочимъ цѣлый томъ о Пушкинѣ, а Анненковъ просидѣлъ нѣсколько лѣтъ надъ изданіемъ сочиненій поэта. Гдѣ, на самомъ дѣлѣ, такъ проявилась гармонія, гдѣ такъ воспроизводилось прекрасное, какъ не у Пушкина? Ему поклонялись, его «обожали», читали и комментировали, и впервые поняли его.

Искусство, творчество — вотъ высшее въ жизни. Только здѣсь человѣкъ лучше всего, полнѣе всего, безъ всякой зависимости проявляетъ самого себя и получаетъ наслажденіе, равнаго которому нѣтъ на землѣ. Григоровичъ трогательно высказалъ этотъ взглядъ въ заключительныхъ словахъ своихъ воспоминаній. Разумѣется, это не мѣшало людямъ сороковыхъ годовъ быть гуманистами, въ нихъ жило сознаніе человѣческаго достоинства, и они возмущались, видя это достоинство затоптаннымъ въ грязь. Но еще больше, чѣмъ возмущенія, было радости, высокой, несоизмѣримой ни съ чѣмъ радости творчества, созерцанія красоты, проявленія гармоніи.

Это одна сторона сороковыхъ годовъ. Была въ нихъ и другая, развившаяся и опредѣлившаяся лишь въ шестидесятые. Я говорю о демократической струнѣ, о жалости ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ, о желаніи счастья человѣку, какимъ бы онъ ни былъ въ настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонію по крайней мѣрѣ недостаточно. Вѣдь у того же пророка Гегеля есть прямо обидныя слова. Напр.: «нечего — говоритъ онъ — проливать слезы и жаловаться, что хорошимъ и нравственнымъ людямъ часто и даже большей частью плохо живется, тогда какъ дурнымъ и злымъ хорошо». Позвольте, какъ такъ нечего плакать? Нѣтъ, тутъ есть отъ чего плакать, надо не только

красоту созерцать, не только проявлять гармонію, но и думать о томъ, во имя того работать, чтобы «хорошимъ и нравственнымъ людямъ» на самомъ дѣлѣ хорошо жилось. «Мы — говорила демократическая партія сороковыхъ годовъ — ровно ничего не имѣемъ противъ красоты и гармоніи. Мы обожаемъ ихъ и поклоняемся имъ, только что-же прикажете дѣлать съ униженными и оскорбленными?» Бѣлинскій глубоко задумался надъ этимъ и съ своей обычной страстностью написалъ слѣдующія строки: «Мнѣ говорятъ: «развивай всѣ сокровища своего духа, для свободнаго самонаслажденія духомъ; плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться; стремясь къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься — падай, чортъ съ тобой, таковскій и былъ, с... с...! Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ удалось влѣзть на высшую ступень развитія, — я и тамъ попросилъ бы васъ отдать отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр., и пр., иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ собратій по крови».

Это прямо пророческія слова. Бѣлинскій какъ нельзя лучше угадалъ то направленіе, по которому пойдетъ мысль русская. И она поклонится философскому колпаку, и она будетъ имѣть честь донести, «что если дисгармонія — условіе гармоніи, то ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи».

Сороковые годы выработали идеалъ человѣка, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развитія. Это было настолько ново въ Россіи, что мудрено было не увлечься такимъ идеаломъ. И имъ увлекались, больше даже — его боготворили. Надо, необходимо надо возвыситься надъ мерзкой и пошлой дѣйствительностью, надо умѣть находить красоту во всемъ, и въ сіяніи солнца, и въ жизни мужика. Только тотъ, кто достигъ высшей ступени развитія, кто позналъ наслажденія творчества — можетъ съ полнымъ достоинствомъ носить названіе человѣка. Есть одна таинственная, притягательная область—

область искусства, въ которой, отдаваясь порывамъ вдохновенія, талантъ можетъ постигнуть всю красоту, всю гармонію жизни.

Но тутъ-же началась и реакція. Человѣкъ — человѣкомъ, но гдѣ-же гражданинъ? Русская мысль сороковыхъ годовъ слишкомъ мало думала о гражданствѣ. Обиженный жизнью, окружающимъ его формализмомъ, жестокостью, человѣкъ инстинктивно искалъ какого-нибудь примиренія съ дѣйствительностью и находилъ его въ творчествѣ, искусствѣ... Но звучала уже въ эти богатые годы другая струна:

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ...

Этой струнѣ не всѣ сочувствовали, не всѣ, прямо говоря, поняли ее. Слишкомъ трудно было отказаться отъ принятыхъ взглядовъ; съ этими взглядами связано такъ много дивныхъ воспоминаній, имъ же люди были обязаны «долей истиннаго счастья»... На сцену выступили люди «весьма даровитые», но «холодные и замкнутые». Опираясь на-тѣ же сороковые годы, на ихъ демократизмъ, на ихъ увлеченіе Жоржъ Зандомъ, на ихъ стремленіе осуществить свою мысль въ дѣйствительности,—они выдвинули на сцену прежде всего гражданскіе мотивы и идею нравственнаго долга человѣка передъ обществомъ. Это было нѣсколько скучно. Прежніе кумиры легко не могли найти себѣ мѣста и часто даже не находили его. Совершенно естественно почему. Въ сороковыхъ годахъ мирно уживались два направленія: эстетическое и гуманитарное. Лучшіе представители сороковыхъ годовъ (какъ Тургеневъ, Григоровичъ и т. д.) соединяли въ себѣ то и другое. Они столько же взывали къ состраданію и уваженію къ униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красотѣ формы. Они были классиками искусства и вмѣстѣ съ тѣмъ людьми, глубоко сочувствовавшими страданіямъ Антона Горемыки.

Но настала пора, и «общегуманитарныя» воззрѣнія пришлось перевести на практическій языкъ. Какъ же, спросили себя, устроить дѣло такъ, чтобы Антонъ Горемыка не только возбуждалъ сочувствіе и состраданіе людей, достигшихъ высшихъ ступеней развитія, но и вообще «былъ бы счастливъ?» Законно-ли, чтобы человѣкъ, описывая страданія Горемыки, чувствовалъ высочайшее художественное наслажденіе и «испытывалъ истинное счастье»?..

Тутъ, какъ хотите, что-то такое есть.

Подвергнувъ «что-то такое» тщательному анализу, нашли, что люди сороковыхъ годовъ, воспитанные на Гегелѣ и его эстетикѣ, на общегуманитарныхъ воззрѣніяхъ, на доктринѣ, которая хотя и соглашалась признавать зло существующаго, но постоянно старалась примирить его во имя дивной красоты и общей гармоніи мірозданія,—были больше людьми, чѣмъ гражданами, имѣющими ясное и опредѣленное представленіе о тѣхъ путяхъ, которыми можетъ процвѣтать и развиваться, и совершенствоваться дорогое отечество. Надо было найти эти пути. Расколъ неминуемо долженъ былъ явиться, и люди сороковыхъ годовъ временно или навсегда устранили себя отъ литературной дѣятельности.

Но этотъ расколъ не заключалъ въ себѣ ничего принципіальнаго; излюбленныя идеи 40-хъ годовъ получили лишь спеціальную окраску. Дѣятели 60-хъ годовъ ведутъ свое литературное происхожденіе отъ дѣятелей 40-хъ, но они выдвинули на первый планъ лѣвую сторону, выдвинули поклонъ Бѣлинскаго философскому колпаку и музу Некрасова. Ихъ первой задачей было разрѣшить вопросы общественнаго благополучія.

Недоразумѣніе должно было произойти. Вмѣсто «неистоваго Виссаріона»—Бѣлинскаго, готоваго своимъ всеобъемлющимъ геніемъ постигать и красоту Пушкина и требовать отчета за жертвы инквизиціи,—въ роли руководителя явился двадцатилѣтній Добролюбовъ, для котораго всякій «гражданиномъ быть обязанъ».

Въ сферѣ понятій «человѣкъ и гражданинъ», «художникъ и общественный дѣятель» и сосредоточился, повторяю, расколъ между сороковыми и шестидесятыми годами. Одни больше выдвигали на сцену перваго, т. е. человѣка, другіе—гражданина.

* * *

Этимъ сопоставленіемъ 40-хъ и 60-хъ годовъ я хотѣлъ показать читателю, что послѣдніе совсѣмъ не были какими-то разбойниками, произвольно и насильно вторгнувшимися въ мирную русскую жизнь, а напротивъ—представляли изъ себя логически необходимый шагъ въ развитіи дорогого отечества. То-же сопоставленіе показало намъ, что спеціальной чертой мысли 60-хъ годовъ были гражданственность и практичность. Если жизнь не хороша, то надо эту нехорошую жизнь хорошей сдѣлать. Таковъ принципъ, выросшій на почвѣ уваженія къ человѣческому достоинству. Во имя этого

достоинства дѣятели 60-хъ годовъ желали, чтобы человѣкъ и уменъ, и пригожъ былъ, чтобы ходилъ онъ чистенькій, да умытый, а не валялся, какъ свинья, въ помояхъ, чтобы красная дѣвушка его любила, и вообще, чтобы всякая пріятность въ жизни окружала его.

Итакъ, толчокъ къ реформированію жизни, данный съ высоты престола, имѣлъ подъ собой вполнѣ подготовленную почву. Страстная вѣра въ возможность переустроить бытіе и приспособить его къ счастью человѣческому—вотъ оно основное и первенствующее настроеніе 60-хъ годовъ. Тогда говорили и вѣрили, что совершенствовать жизнь можетъ и долженъ каждый, что вообще непристойно сидѣть на печи и ѣсть калачи, когда бытіе совершенствомъ не отличается.

Отсюда — практическій, утилитарный характеръ мысли того времени, «этотъ идеализмъ земли», какъ выражается Шелгуновъ. «Идеализмъ»—потому что люди вѣрили, «земли»—потому что земное счастье человѣка было ихъ основной заботой.

Общественное возбужденіе было громадно. Происходила всеобщая эмансипація—мужика, дѣтей, гражданина. Всѣ считали себя призванными рѣшать, а если не рѣшать, то по крайней мѣрѣ обсуждать. Обсуждали съ точки зрѣнія человѣческаго счастья и достоинства.

Какъ всегда, Европа много помогала движенію. Она давала уже выработанныя и прекрасно доказанныя политико-экономическія и философско-историческія формулы. Она вселяла вѣру въ науку и въ возможность построить человѣческую жизнь на незыблемыхъ научныхъ основаніяхъ. Надо было учиться и учить. Къ этому сводилось все.

Человѣкъ всѣми возможными и доступными для него способами *долженъ* стремиться къ развитію и совершенствованію.

Развитая личность, выходя въ жизнь, должна стараться привести ее въ сообразность съ разумомъ и наукой.

Вотъ программа 60-хъ годовъ.

* * *

Послѣ сказаннаго выше найти мѣсто Писареву нетрудно. Смотря на жизнь, онъ прежде всего былъ пораженъ ея невѣжествомъ и ея бѣдностью, и вмѣстѣ съ тѣмъ его одушевляла страстная вѣра въ возможность и необходимость перестроить неприглядное бытіе на основахъ науки и знанія.

Несомнѣнно, что онъ воспринялъ полностью традиціи 40-хъ годовъ и, вѣруя въ способность личности безконечно развиваться и совершенствоваться, продолжалъ дѣло Бѣлинскаго, Герцена и др. Особенно рѣзко бросается въ глаза связь статей Писарева и Бѣлинскаго: многія мѣста въ тѣхъ и другихъ какъ бы вышли изъ подъ того-же пера.

Припомните, какъ отстаивалъ Бѣлинскій личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дѣло обвиняли его за то, что онъ не признаетъ никакихъ литературныхъ авторитетовъ и осмѣливается по поводу каждаго разбираемаго имъ автора свое сужденіе имѣть. Обвиненіе совершенно справедливое, но мы разумѣется поставимъ его въ заслугу великому критику. Это «свое сужденіе» и создало его славу, оно—его право на безсмертіе. Литературный авторитетъ такъ-же вреденъ, какъ и всякій другой, разъ человѣкъ подчиняется ему не сознательно, а лишь изъ робости мысли и чувства, словомъ—съ чужого голоса. Личность всякаго человѣка должна быть свободна, каждый можетъ думать и чувствовать по своему. Этому училъ Бѣлинскій. Разумѣется, что эмансипація личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тѣмъ-же принципомъ, онъ смѣло подходилъ къ вопросамъ любви, семейной и государственной жизни. «Нашъ романтизмъ—говоритъ онъ—хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастія его жизни. Одинъ такъ, другой иначе; тотъ—одинъ разъ въ жизни, этотъ—десять разъ; оба равно правы, лишь-бы только на совѣсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье.» Истинная любовь должна быть свободна, и человѣку нечего взваливать на себя какихъ-бы то ни было обязательствъ въ дѣлѣ чувства. «Нѣтъ болѣе чувства—пишетъ Бѣлинскій—и вѣрность теряетъ свой смыслъ.» То-же и насчетъ власти родительской: «если бы отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына ложе его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ разсчетовъ,—всѣ бы увидѣли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо, если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ отца.»

Не такое было время, чтобы Бѣлинскій могъ высказываться

свободно, но все-же его симпатіи и антипатіи намъ извѣстны очень хорошо. Что привлекало когда-то въ его статьяхъ, что продолжаетъ привлекать въ нихъ и въ настоящее время? Очевидно одно: уваженіе къ человѣку, настойчивое требованіе простора для мысли и чувства. Не даромъ-же Писаревъ съ такой почтительностью относился къ Бѣлинскому: онъ продолжалъ его дѣло.

Идея эмансипаціи личности разрушила крѣпостное право, создала реформы 60-хъ годовъ и внесла много свѣту въ темную область старинныхъ семейныхъ условій. Для русской жизни она была откровеніемъ и продолжаетъ быть имъ до настоящаго времени. Какъ пропагандировалъ ее Писаревъ—мы знаемъ.

Слѣдуя духу времени, онъ придалъ ей рѣзкую гражданско-утилитарную окраску. Этой стороной своего міросозерцанія онъ вплотную приросъ къ 60-мъ годамъ и несомнѣнно является однимъ изъ самыхъ яркихъ и талантливыхъ представителей «идеализма земли». Онъ цѣнилъ все, что улучшаетъ бытіе человѣка здѣсь на землѣ, но одинъ вопросъ постоянно смущалъ—и при томъ совершенно основательно смущалъ его мысль: можно-ли вливать новое вино въ старые мѣха?

Какой прахъ можетъ выйти изъ всѣхъ реформъ и благихъ начинаній, разъ самые люди ничтожны? Что подѣлаете вы съ карликами и господами, приспособленными лишь къ мартышкину труду? Только то обновленіе прочно, которое воспринято критически-мыслящими умами. Исторія послѣднихъ 30-ти лѣтъ доказала, что Писаревъ правъ. Оттого-то онъ и сосредоточилъ всѣ свои усилія на созданіи интеллигентныхъ людей, мысль которыхъ являлась-бы основой хорошей человѣческой жизни. Оттого-то онъ такъ страстно проповѣдывалъ критику и науку. Остановимся на минуту на терминѣ *интеллигентный человѣкъ*. Это приведетъ насъ къ философско-историческимъ взглядамъ Писарева.

Интеллигентнымъ человѣкомъ Писаревъ называлъ того, у кого въ головѣ есть своя самостоятельная мысль. Дѣло не въ образованіи, не въ знаніи и не въ манерахъ, а дѣло въ томъ, чтобы человѣкъ въ своей собственной жизни, по мѣрѣ силъ и способностей, повторилъ умственный опытъ человѣчества, насколько это конечно возможно.

Каждую формулу необходимо понимать въ предѣлахъ, указуемыхъ благоразуміемъ. Если говорятъ, что надо повторить опытъ че-

ловѣчества, то это совсѣмъ не значитъ, что слѣдуетъ каждому начинать съ состоянія троглодита, изобрѣсти самому панталоны и куртки, пройдя предварительно черезъ стадію звѣриныхъ шкуръ, потомъ—огонь, потомъ—начальство, ибо «нѣтъ зла хуже беззаконія»—и т. д. вплоть до философіи Канта и Спенсера включительно. Это совсѣмъ пустяки. Панталоны и куртки изобрѣтены и довольно уже давно, Кантъ и Спенсеръ свою философію написали и изобрѣтать изобрѣтенныя вещи значитъ совсѣмъ напрасно тратить время. Но начать съ того, что въ самомъ способѣ воспріятія выработаннаго уже матеріала есть большая разница. Можно воспринимать такъ, какъ галчата поступаютъ: раскроютъ рты, мамаша имъ туда положитъ насѣкомое, они проглотятъ, переварятъ и выбросятъ. Такъ когда-то барышни дѣлали, да и тѣ теперь въ этомъ разочаровались. Можно воспринимать иначе: съ полнымъ уваженіемъ къ авторитету и вмѣстѣ съ тѣмъ съ полнымъ желаніемъ сохранить свою самостоятельность.

Это законно и даже необходимо. Знаменитое декартовское «doute absolue» еще и теперь не утеряло своего громаднаго значенія для развитія, и я думаю никогда его не утеряетъ. Нельзя конечно во всемъ сомнѣваться и ко всему относиться недовѣрчиво. Это мотовство и самомнѣніе. Когда вамъ говорятъ: «дважды два—четыре», что тутъ спорить?

Писаревъ постоянно твердилъ, что дорога самостоятельнаго мышленія съ должной дозой скептицизма и критицизма—вотъ единственно, что̀ вырабатываетъ интеллигентныхъ людей, а не ходячія формулы. Формулы могутъ быть очень симпатичны, но люди, воплощающіе ихъ, могутъ тѣмъ не менѣе ни къ чорту не годиться. Они очень скучны—это во-первыхъ; очень подозрительны—это во-вторыхъ. Да, подозрительны. Вѣдь если они съ такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто-же поручится, что завтра они не воспримутъ съ одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной первой? Вѣдь процессъ: раскрыть ротъ, проглотить и переварить—отъ этого не мѣняется.

Выработавъ себя путемъ самостоятельнаго мышленія, интеллигентный человѣкъ отличается поэтому двумя качествами: чувствительностью къ личному опыту—*во-первыхъ*; вѣротерпимостью—*во-вторыхъ*.

Можно образовать попугая и сдѣлать обезьяну очень прилично

образованной молодой особой. Но попугай всю свою попугайскую жизнь будетъ твердить одно: «дуракъ попка», а обезьяна—повторять рядъ извѣстныхъ тѣлодвиженій. Это-то и грустно, что и среди людей нерѣдкость тѣ-же самыя попугайство и обезьяничанье.

Люди, у которыхъ прекрасно развита шишка двуперстія, къ личному опыту, да и не только къ личному, а и вообще ни къ какому опыту не чувствительны. Имъ хоть колъ на головѣ теши, а они знай свое повторяютъ: «Исусъ» да «Исусъ». Не помню, какому-то типичному аббату среднихъ вѣковъ ученикъ сообщилъ свое астрономическое открытіе, что «на солнцѣ есть пятна».

— Другъ мой,—отвѣчалъ типичный аббатъ:—я всю жизнь внимательно читалъ Аристотеля и никакихъ пятенъ на солнцѣ у него не показано. Совѣтую и тебѣ перечесть внимательно творенія мудреца.

Въ данномъ случаѣ очевидно, что между двуперстіемъ и твореніями мудреца рѣшительно никакой разницы нѣтъ. Но это-то двуперстіе и уничтожаетъ всю красоту, всю полезность интеллигентной дѣятельности. Писаревъ ни въ чемъ другомъ ея красоты не видѣлъ, какъ именно въ оригинальности, въ самостоятельности, а когда передо мной, вмѣсто этихъ прекрасныхъ качествъ, штампъ, то, признаться, ничего кромѣ скуки и самаго искренняго позыва къ зѣвотѣ—никто и ощутить не можетъ.

Тутъ очевидно не о томъ рѣчь идетъ, чтобы каждый интеллигентъ свое «новое слово» сказалъ. Это слишкомъ ужъ жирно, да и не интересно, ибо embarras de richesse то-же самое, что embarras de misère. Слишкомъ много новыхъ словъ—вещь безполезная, да и невозможная.

Дѣло въ томъ лишь, что каждая старая мысль, разъ она воспринята самостоятельно мыслящимъ человѣкомъ, обращается въ мысль новую. Безъ субъективнаго оттѣнка—когда конечно дѣло идетъ не о научныхъ истинахъ—обойтись нельзя. А этотъ субъективизмъ, это его разнообразіе и расширяетъ познаніе жизни, затрагивая такія стороны, которыя раньше какъ-бы и не заключались въ самой формулѣ. Вѣдь музыканты знаютъ, что та-же самая вещь въ исполненіи Шопена, Листа и Рубинштейна звучитъ нѣсколько иначе. Разумѣется, что она остается сама собой, но оттѣнокъ, тонъ ея другіе. У Листа больше мужества, энергіи, выразительности, у Шопена—задумчивости и грусти, у Рубинштейна—вдумчивости и пониманія.

Все это то-же самое, только «то, да не то». А разъ мы въ искусствѣ цѣнимъ виртуоза даровитаго, талантливаго, геніальнаго, то какъ не цѣнить его въ области мысли? И пусть такими именами, какъ Листъ, Шопенъ, Рубинштейнъ, никто не пугается. Чувствующій и самостоятельный человѣкъ можетъ проявиться и непремѣнно проявится въ самой маленькой сферѣ, а не только при полномъ залѣ разношерстной публики.

Но откуда-же этотъ субъективизмъ, этотъ оттѣнокъ? Откуда?— Очевидно изъ личнаго опыта. Оттого-то дѣйствительно интеллигентный человѣкъ чувствителенъ къ нему.

Затѣмъ—вѣротерпимость. Конечно и фанатизмъ имѣетъ свои разумныя основанія, опираясь на духъ времени и пр., но въ интеллигентной жизни онъ, строго говоря, нетерпимъ. Нѣтъ ему мѣста и быть не должно. Разъ красота интеллигентной жизни въ ея индивидуальности, въ ея оттѣнкахъ, то очевидно, что фанатизму и двуперстію дѣлать нечего. Они все стремятся подъ ранжиръ поставить, для нихъ ижица въ словѣ такъ-же важна, какъ и самая идея въ дѣлѣ.

Въ концѣ концовъ, какъ уже это понялъ проницательный читатель, все сводится къ вопросамъ: критицизмъ или догматизмъ? Люди или бараны? Панургово стадо, излагающее своимъ блеяніемъ извѣстнаго рода катехизисъ, или-же общество интеллигентовъ, самостоятельно мыслящихъ и самостоятельно чувствующихъ, пріученныхъ къ этой самостоятельности школой, жизнью, отношеніемъ къ нимъ тѣхъ, кто по всей справедливости стоитъ наверху, и собственными занятіями?

«Увлечься идеею не трудно, подчиниться идеѣ способенъ человѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ. Чтобы переработать идею, напротивъ того необходимъ живой мозгъ: только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими избранныя личности; оттого въ тѣхъ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господ-

ствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда человѣкъ вырабатываетъ ее силами собственнаго мозга; какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, такъ она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться»...

Въ этихъ словахъ Писарева какъ нельзя лучше изложена разница между человѣкомъ интеллигентнымъ, въ которомъ идея *живетъ*, и человѣкомъ образованнымъ, въ которомъ она лишь *пребываетъ*.

Интеллигентныхъ людей характеризуетъ творческая способность, творческая самостоятельность. Степень этой способности можетъ быть очень различна, но, малая или великая, она должна быть и при лучшихъ условіяхъ можетъ быть у большинства.

Такъ смотрѣлъ Писаревъ на интеллигентныхъ людей. Они— соль земли, иниціаторы всего хорошаго, ихъ критическая мысль— залогъ прогресса и устойчивости этого прогресса.

Слѣдовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансипировать личность и открыть ей дорогу, какъ къ развитію, такъ и проявленію самой себя.

* * *

Совершенно понятно, почему идея эмансипаціи личности такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея сознательнаго пробужденія и проходитъ красною нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала къ себѣ вниманія и уваженія, хотя-бы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: «hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir», т. е. «я настаиваю на томъ, что *это* истина, иначе думать и вѣрить я не могу. Богъ да поможетъ мнѣ». Лютеръ сказалъ, что онъ имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ *онъ* его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ *своимъ* разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятіе личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ буржуазной-же средѣ личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человѣческая личность, а собственница. Какъ бы то ни было, втеченіи XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всѣ усилія свои сосредоточить

на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ каѳедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Блана и пр., а между тѣмъ государственная жизнь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ и 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ, или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

Въ экономическомъ отношеніи крѣпостная Россія была сравнительно обезпечена и не безъ основанія вѣрила, что служитъ житницей Европы, способной уморить послѣднюю съ голоду, разъ та поведетъ себя нехорошо. Поэтому думать о вопросахъ экономическихъ было преждевременно, пока крѣпостная личность не получитъ права гражданства.

Бѣлинскій уже очень серьозно занимается этимъ вопросомъ, еще больше вниманія удѣляетъ ему Герценъ. Наступаютъ наконецъ 60-е годы. Вино подается новое, но мѣха остаются прежними. Эти мѣха—крѣпостная личность, крѣпостная, хотя не юридически уже, но фактически, благодаря своей дикости, невѣжеству, умственной робости.

Отчаяннымъ натискомъ и геройскимъ приступомъ 60-е года заняли много позицій, гдѣ очень самодовольно и въ кажущейся безопасности сидѣли устои прежней жизни. Если ихъ можно было и притомъ сравнительно легко выкурить изъ кодекса законовъ, то выкурить ихъ изъ понятій оказалось куда труднѣе—прямо не подъ силу никому. Писаревъ посвятилъ этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талантъ, и мнѣ думается, что онъ шелъ вѣрной дорогой, дополняя «Современникъ». «Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, воспитателемъ и воспитанникомъ—все это,—говорилъ онъ,—должно быть обсуживаемо и разсматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. И это обсужденіе не должно привести къ составленію *законовъ* семейной жизни. Боже упаси! Догматизмъ вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно уступить

мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященныя вѣками и потому подернувшіяся вѣковою плѣсенью».

Русская исторія постоянно грѣшила какимъ-то вполнѣ систематическимъ отрицаніемъ личности. Въ этомъ повинны столько-же монгольское иго, сколько и Петръ Великій. Человѣка на сценѣ не было никогда, развѣ въ легендарный періодъ, когда соловьи-разбойники прятались по лѣсамъ муромскимъ и брынскимъ. Люди, создавшіе русское просвѣщеніе, какъ нельзя лучше понимали это, и эмансипація личности—нервъ прогрессивной русской мысли.

У Бѣлинскаго она является, какъ нравственный постулатъ, какъ требованіе гуманнаго человѣка; Герценъ подыскалъ ей болѣе широкія основанія. Въ нѣкоторомъ отношеніи Писаревъ пошелъ еще дальше и самой идеѣ придалъ новую, спеціальную окраску.

Прежде всего онъ становится на почву выгоды и экономіи силъ, оставляя такимъ образомъ шаткіе подмостки добра и зла. Онъ не говоритъ, какъ Бѣлинскій, «уважайте достоинство человѣка, личности, чтобы быть добродѣтельнымъ», а, обращаясь къ здравому смыслу и разсудку своихъ читателей, старается доказать имъ, что счастье можетъ быть достигнуто только при этомъ условіи. И это не личное, маленькое счастье, а напротивъ—широкое, общечеловѣческое счастье. Ему жаль, и притомъ совершенно основательно жаль, тѣхъ иногда недюжинныхъ силъ, которыя разбрасываются на служеніе обычаямъ и приличіямъ, въ погонѣ за различными иллюзіями, и той работѣ, которая совершенно не отвѣчаетъ влеченію ихъ природы. И такая постановка вопроса совсѣмъ не пустяшная, а какъ разъ наоборотъ. Одинаково смотрѣли на дѣло и Сократъ, и Платонъ, и всѣ, кто умѣлъ трезво взглянуть на человѣческую и общественную жизнь «Познай самого себя», училъ здравый, глубоко практическій геній Греціи. Что собственно означаетъ это познаніе самого себя? Оно означаетъ, что обязанность каждаго, какъ человѣка и гражданина, заключается прежде всего въ томъ, чтобы взвѣсить свои силы, тщательно и безъ всякаго самообольщенія опредѣлить ихъ размѣры и найти для нихъ такую точку приложенія, когда онѣ могли-бы обезпечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой личности.

Таковъ истинный смыслъ эмансипаціи личности, какъ понималъ ее Писаревъ. Личность свободно опредѣляетъ свои силы и свое влеченіе и свободно работаетъ на избранномъ поприщѣ. Въ результатѣ—прежде всего экономія силъ.

Это существеннѣйшій пунктъ.

Было когда-то въ модѣ восторгаться мудростью природы и писать на тему о томъ, какъ все прекрасно устроено въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. Наконецъ наука пришла къ той простой мысли, что хотя природа и совершенствуется по части приспособленія, но дѣлаетъ это съ безумной расточительностью. Лотце уподобляетъ природу охотнику, который, желая убить одного зайца, пускаетъ во всѣ стороны 10,000 выстрѣловъ, въ чаяніи, что авось который-нибудь зарядъ и попадетъ, куда нужно. А не попадетъ—что за бѣда?

Нельзя не согласиться, что до сей поры эволюція и развитіе общества мало чѣмъ отличались отъ эволюціи и развитія природы. Та-же безумная расточительность, тѣ-же10,000 выстрѣловъ по одному несчастному зайцу прежде всего бросаются въ глаза. Не могу удержаться, чтобы не привести словъ одного изъ самыхъ осторожныхъ англійскихъ мыслителей Ф. Гальтона, сказанныхъ имъ по этому поводу:

«Процессъ эволюціи происходилъ, повидимому, до сей поры такъ, что мы, разсуждая съ нашей человѣческой точки зрѣнія, не можемъ не признать въ немъ большой и напрасной траты силъ и жизней и не видѣть въ немъ полнаго пренебреженія къ страданіямъ отдѣльныхъ индивидуумовъ. Разсматриваемый съ нашимъ критеріумомъ милосердія и разума,—причемъ критеріумъ этотъ заключается въ томъ, чтобы цѣль достигалась безъ напрасной траты времени и силъ, безъ ненужнаго страданія—процессъ эволюціи происходилъ на этой землѣ безъ участія въ немъ разума и справедливости и исключительно по рутинѣ такъ называемыхъ «законовъ» установленныхъ и ставшихъ необходимыми неизвѣстно какимъ образомъ».

Этими словами Гальтонъ прекрасно опредѣляетъ позицію новаго научнаго движенія. Путемъ безконечно долгой и упорной работы мысли человѣкъ отдѣлилъ себя отъ природы и увѣровалъ, что онъ можетъ и долженъ устроить свое благополучіе, пользуясь собственными силами и средствами. Слѣдовательно онъ призналъ, что его дорога къ счастью другая, чѣмъ у природы-матери, если у послѣдней

вообще есть какая-нибудь дорога. И новое научное движеніе старается эволюцію общества отдѣлить отъ эволюціи природы. Въ чемъ-же могутъ онѣ разойтись? Мнѣ кажется, лишь въ двухъ пунктахъ:

1) въ экономизированіи силъ и

2) въ уваженіи личности, какъ таковой.

Экономія силъ для природы—вещь совершенно посторонняя. Также посторонне для нея уваженіе къ личности, индивидууму. Къ нимъ она относится съ обиднымъ даже пренебреженіемъ и жертвуетъ милліонами, не чувствуя при этомъ ни малѣйшаго угрызенія совѣсти. Всякій знаетъ, я думаю, какая это въ сущности жестокая. съ нашей, человѣческой точки зрѣнія, вещь—естественный подборъ, Гибнутъ десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что дѣятельность Писарева заключалась главнымъ образомъ въ пропагандѣ этихъ двухъ великихъ идей новой науки, т. е. экономіи силъ и признанія за каждымъ права на полноту существованія,—излишне. Но надо замѣтить, что онъ—русскій человѣкъ, слѣдовательно—мотъ. Онъ забылъ на свои философско-историческіе взгляды налѣпить соотвѣтствующіе ярлыки, забылъ указать въ нужномъ мѣстѣ, что это его мысль, что раньше до него этого никто не говорилъ..

Причина, какъ видитъ читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая источника. Но еще бо́льшая бѣда, что, какъ журналистъ, Писаревъ не успѣлъ придать своимъ взглядамъ научный характеръ и систематически изложить ихъ въ двухъ или сколько тамъ томахъ съ соотвѣтствующими ссылками на первоисточники.

Конечно, нѣтъ ничего пріятнѣе и важнѣе, какъ если какая нибудь идея является передъ нами во всеоружіи своихъ доказательствъ и тѣхъ фактовъ, на какихъ она основана. Не менѣе важна и систематическая форма изложенія, имѣющая громадное воспитательное значеніе. Но что будешь дѣлать? Не удалось Бѣлинскому написать своей «Исторіи литературы», а пришлось разбросать ее на протяженіе XII томовъ; не удалось и Писареву разработать свою идею «до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня», какъ выражается онъ въ письмѣ къ матери (стр. 88). Онъ ограничился журнальными статьями, по необходимости отрывочными, по необходимости обремененными мас-

сой посторонняго текущаго матеріала. Но все-же очевидно, что онъ больше чѣмъ кто-нибудь изъ русскихъ писателей сдѣлалъ для того, чтобы закрѣпить за русскимъ самосознаніемъ великую и плодотворную идею объ *исторической силѣ эмансипированной, критической личности.*

* * *

Итакъ, проповѣдуя экономію силъ и эмансипацію личности, т. е. возможность для личности слѣдовать своей мысли, своему влеченію, своей природѣ, Писаревъ этимъ самымъ является представителемъ той философско-исторической школы, которая не хочетъ объединять эволюцію общества съ эволюціей природы и выдвигаетъ счастье и развитіе личности—какъ критеріумъ прогресса. Правда, у него нѣтъ должной терминологіи,—основательная причина, почему его мыслями такъ часто пользовались безъ указанія источника. Зато очень часто жаловались, что онъ недостаточно занимается экономіей и политикой. А между тѣмъ очевидно, что и онъ самъ смотрѣлъ на распространеніе интеллигентовъ и критически мыслящихъ работниковъ лишь какъ на средство. А цѣль? Вотъ его подлинныя слова:

«Конечная же цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка состоитъ все-таки въ томъ чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ ничего, о чемъ-бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

КОНЕЦЪ.